



К. ШЕРГИН

ПОТОРСКИЕ
БЫЛИ
И
СКАЗАНИЯ

ДЕТГИЗ
1957

Б. Шергин



Морские
были
и
сказания



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Москва 1967



*Милому внуку,
МИШЕНЬКЕ БАРЫКИНУ,
посвящает автор
эту книгу.*

О КНИГЕ Б. В. ШЕРГИНА

С давних времен из Новгорода на Север нашей страны, к Белому морю, переселились предки нынешних поморов. Они стали ходить за рыбой сначала по Двине и у морских берегов, а потом — все дальше в море на промысел за тюленями и моржами. Все шире расселялись новые пришельцы по морскому берегу; их так и называли поморами.

Борьба с суровой природой выковала у поморов крепкий характер, умение не теряться в трудных обстоятельствах, решительность и твердость духа.

В бурном, изменчивом море одному человеку несдобровать, и поморы шли на промысел артелью, дружиной. Крепкая дружба, взаимная помощь связывали дружину. Помор всегда был готов выручить в беде товарищей: на промысел выйдешь — опирайся на товарища, но и сам помогай ему, береги, как себя, — это закон для помора.

Народ на Севере не знал унижительного гнета крепостного права, был грамотен и самостоятелен. Когда с берегов Белого моря Россия начала торговать с иностранными купцами, поморы

первыми стали ходить с товарами на своих судах в Норвегию, Швецию, Англию, всюду заслуживая уважение за свою отвагу и честное отношение к делу.

На широкой Северной Двине, при самом впадении ее в Белое море, издавна возник город Архангельск. Это было удобное место для города: вниз по реке везли все, что давали русским густые северные леса, по морю приходили за нашим сырьем иноземные суда. Шумная, кипучая жизнь шла в Архангельске, у причалов, где слышалась и русская речь, и речь иностранцев, пришедших на своих судах.

Прекрасная природа Севера привлекала сердце тончайшими своими красками; суровая, она была родной, любимой матерью помору. Над широкими просторами Северного края летом стоит в небе „незакатимое“ солнце, и в светлое летнее время, когда затихают над морем ветры, человек ищет поэтических слов, чтобы запомнить и передать людям свое понимание родной северной природы.

Помор, ушедший в море на промысел, любит вдали от берега послушать и сам рассказать о виденном — он тонкий ценитель искусства слова. Испокон веку у поморов были свои талантливые певцы, сказители. Люди большой поэтической одаренности и удивительной памяти, они не только могли спеть десятки давних, услышанных от старших, песен и старины (так поморы называют былины), рассказать множество сказок, но и сложить свои, новые песни, старины и сказки. В них отражались и исторические события, и труд помора на зверобойных и рыбных промыслах, а главное, тот высокий подъем духа, который веками выковывался у поморов в борьбе с суровой природой ледовитого моря, куда они первые прокладывали путь следующим поколениям.

Много наблюдений, примет, сведений о направлении морских течений, о льдах, ветрах, погоде, сохраненных памятью рассказчиков, оказались полезными, важными и в наши дни освоения

Арктики. Когда в наше, советское время герои-полярники раз-
вертывают научно-исследовательские станции на льдинах, изу-
чают природу Северного Ледовитого океана, то не раз, конечно,
вспоминают они славных мореходцев прошлого, первых иссле-
дователей, заходивших на далекие острова и берега родного
Севера. Немало таких смелых людей погибло в море, оставив
по себе добрую память в поморских былинах и сказаниях.

Автор этой книги Борис Викторович Шергин вырос в Архан-
гельске, среди трудовых людей: отец его, коренной помор, был
корабельным мастером — строил морские парусные суда. С дет-
ства Борис Викторович постоянно видел работавших с отцом
старых мореходцев и слышал их рассказы. Нельзя было нади-
виться, как искусно сплетались их замысловатые сюжеты, нельзя
было заслушаться чистой, высокой речи рассказчиков. Воспи-
танный на сокровищах словесного творчества северных людей,
будущий писатель навсегда сохранил в памяти и самих творцов
этого сокровища.

Незабываемым наставником своим писатель называет Паф-
нутия Осиповича Анкудинова, замечательного мастера слова.
Его рассказы Борис Викторович запомнил на всю жизнь и поэти-
ческую основу их впоследствии донес до нашего времени. Он
ярко, талантливо, по-своему написал эти старинные поморские
былины, предания, сказки. Он рассказал нам о любимом своем
Севере, о добрых, честных людях, мастерах своего дела, которых
знал в детстве и юности.

Геронческий образ человека, которому честь дороже жизни,
встает из старых преданий и былей, передававшихся от отцов
к детям, от дедов — внукам. И герои произведений Шергина —
самоотверженные, справедливые и умелые люди; из рук их
никакая работа не выпадает, им можно доверить руководство
любым промыслом, постройку и вождение морских судов. Они
знают, что такое честное слово человека, с честью выпол-
няют порученное им дело. Эти умные и талантливые люди

стремятся не к собственному обогащению и почету, а к славе своей родины, для этого и сил и жизни не жалеют.

В рассказах Шергина и в переданных им старинных сказаниях с большой поэтической силой показана глубокая, крепкая связь поморов со своим „отеческим морем“. „Уж ты кормишь, пойшь, море синее, обуваешь, одеваешь, море соленое...“ — поют поморы. Это та великая связь человека с природой, которую он устанавливает вековым своим трудом и которая порождает горячую любовь к своему краю, к своей родине. Особенно ярко, своеобразно эта связь показана в сказаниях „Братанна“ и „Гнев“.

В сказании „Гнев“ повествуется о том, как два брата жили в двинском устье, ходили на промысел к Новой Земле и „неубыточно правили торг у себя на Двине“. Старший брат, Лихослав, нарушил „товарищество“ — обязательное в морских походах правило справедливого и честного отношения кормщика к своей дружине: собственного брата Гореслава он бросил вместе с другими охотниками на необитаемом тогда берегу Новой Земли. Наказывает Лихослава за нечестный, коварный поступок сам „батюшко океан, Студеное море“. В этом сказании честный труд человека прославлен с большой поэтической силой.

А несчастную, немую Братанну, которая „в лютый день“ просит защиты от несправедливости людской у синего моря, „батюшко море, кормилец“ спасает от гибели и болезни.

В произведениях Шергина сильно звучит поэтическое его слово. Великолепный, красочный северный язык украшает и картины природы, и диалоги действующих лиц; все его герои говорят кратко и сильно, выражая короткой, как пословица, фразой свое отношение к событию и черты собственного характера. „Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях!“ — говорит Матюша Корелянин в рассказе „Матвеева радость“.

Этот Матюша Корелянин с шести лет остался круглым сиро-

той, а с двенадцати лет уже начал тяжелую трудовую жизнь — отправился зүйком на Мурманские промыслы. Рано понял он, что помору „море — пленец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу“.

Чуть не с детских лет мечтал Матюша Корелянин о своем суденышке; брался за всякую работу, „не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом“, чтобы скопить на судно, вырваться из хозяйской кабалы, выбиться из бедности. Но только после Октябрьской революции, которая, по образному выражению автора, „подвела купеческие суда к бедняцкому берегу“, исполнилась мечта Матвея Корельского. Его, известного всем своей честной трудовой жизнью, избирают председателем местного рыбопромышленного товарищества, и он получает в свое распоряжение отнятую у него когда-то шкуну купца Зубова. С какою любовью взялся Матвей, уже пожилой человек, за ремонт запущенной Зубовым посудины и назвал обновленный корабль „Радостью“...

О том новом, что появилось на Севере в наше время, о новых героях, о людях настоящего Б. В. Шергин пишет и в рассказе „В отnose морском“.

Сам автор блестяще умеет рассказывать свои произведения. В его исполнении оживают и кормщики, и купцы, и жены поморов, и строители кораблей, выливают зеленые острова на светлой воде, под незакатным солнцем.

У Б. В. Шергина с детства были большие способности к рисованию. Еще мальчиком он рисовал многие возникавшие в памяти картины родной природы и после окончания архангельской Ломоносовской гимназии перешел в московское художественное Строгановское училище. Первые свои книги Б. В. Шергин иллюстрировал сам.

Печатать свои рассказы Борис Викторович начал с 1916 года. Им написано около десятка книг: „У Архангельского города,

у корабельного пристанища", сборник сказок „Шини Московский“, „Архангельские повеллы“, „Поморицина-корабельница“ и др.

В книге „Поморские были и сказания“ юный читатель найдет рассказы о Двинской земле, о Северном море, о жизни людей Севера — моряков, охотников на морского зверя, рыбаков. Прочитает интересные дедовы сказания, старины и сказки, созданные автором на основе устного народного творчества поморов. Услышит красивую, яркую речь поморов, увидит природу нашего Севера.

Многие нарисованные Б. В. Шергиным образы поморов старого времени перекликаются с теми строителями нового, которые после революции пришли на Север, работают там, водят океанские пароходы в далекие рейсы и пересекают по океану Великий Северный морской путь.

Н. Емельянова





Моя юность



Двинская Земля



одную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море — седой океан.

От Студеного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвик. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река идет с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат и леса стоят

Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и караблик надо.

В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами.

Приедем из города в карбасе *¹. Кругом шиповник цветет, благоухает. Надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь учат, а взводеньком* выполаскивает на песок раковицы-разиньки. Летят от цветка к цветку медуницы, мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морошку, бруснику, голубель, чернику собираем натоделными* грабельками: руками — долго, и корзинами носим в карбаса. Ягод столько — не упомнишь земли под собой. От ягод тундры как коврами кумачными покрыты.

Где лес, тут и комара — в две руки не отмахнешься.

В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закажется, только снимет с себя венец, и небо загорится жемчужными облаками. И вся красота отобразится в водах.

Тогда ветры перестанут и вода задумается. Настанет в море великая тишина. А солнце, смежив на минуту

9

¹ Слова, отмеченные звездочками, объяснены в конце книги, стр. 263.

глаза, снова пойдёт своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены.

Этого светлого летнего времени любим и хотим, как праздника ждем. С конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало.

С августа месяца белые ночи меркнут. Вечерами сидим с огнем.

От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры. Ходит дождь утром рано и вечером поздно. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето.

Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит. Пищим птицей подавали.

По мелким островам и песчаным конкам*, что подле моря, набегают туманы. Белая мара* морская стоит с ночи до полудня. Около тебя только по конец ружья видно; но в городе, за островами, туманов не живет.

Тогда звери находят норы и рыба идет по тихим губам*.

Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит* и суда морские у пристаней с якоря рвет.

Помню, на моих было глазах: такая у города погода, расходилась, ажно пристани деревянные по островам разбросало и лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло.

Дальше заведется ветер-полуночник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да и пойдёт снег велик днем и ночью. Если сразу приморозит, то и реки станут, и саням путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедница, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили. Тоже и по внешнему льду коней роняют.

Так и зима придет. К ноябрю дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает — и дня не видит. В школах только на часок лампы гасят. В училище, бывало, утром бежишь — фонари на улицах горят, и домой в третьем часу дня ползеешь — фонари зажигают.

В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время — декабрь, январь, — время резвое и гульливое. Воздух — как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом, и розами, и изумрудами заря. И день простоят часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные: заиндевели, закуржавели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колют ловко. Только тукнешь топором — береги ноги: чурки, как сахар, летят.

На ночь звезды, как свечи, загорят. Большая Медведица — во все небо.

Слушайте, какое диво расскажу.

В замороз к полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря.

И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать... Сиянье же обновится. Временем встанет как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток.

Бывало, спишь — услышишь собачий вой, откроешь глаза. По стенам бегают светлые тени, а за окнами небо и снег переливают несказанными огнями.

Мама или отец будили нас, маленьких, яркое-то сполохи-сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели.

У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою. Наступят большие воды — разливная весна.

В которые годы внешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и расплывутся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами.

Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут заграничные и от Вологды. Весело будет... Горожане — чуть свободно — на угор*, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду... В школе — чуть перемена — сразу летим лед караулить. По дворам

лодки заготовляют, конопатят, емолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит. Значит, река пошла. Гулянья по берегам откроются. Не до ученья, не до работы. На городских башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары; по ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затонуло.

Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе как услышат — из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбалыцы в уе не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят по улицам в лодках с гармониями, с песнями, с самоварами. А прежде — вечерами с цветными фонарями и в масках.

Лед идет в море торосами, стенами. Меж островов у моря льду горами наворотит, всё льдом заложит, не видно деревень.

Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновата; потом и мутница и пенница сойдет, и река опадет, лето пойдет.

Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в неведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген, на Землю Франца-Иосифа. В наши дни

народная власть распахнула ворота и на восток, указала Великий Северный путь. Власть Советов оснастила воздушные корабли — самолеты. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на Северный полюс, куда прежде чаица не залетывала, палтус-рыба не захаживала.

„Архангельский город всему морю вóрот“.

Архангельск стоит на высоком наволоке*, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока — океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины.

С восточной стороны легли до города великие мхи. Там у города речки: Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха.

В подосень, да и во всякое время у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристаням идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шхуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские парходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские карбаса.

Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина:

... А и все на пиру пьяны-веселы,
А и все на пиру стали хвастати.
Толстобрюхне бояре родом-племенем,
Кособрюхне дьяки большой грамотой,

Корабельщики хвалились дальним плаваньем,
Промысловщики-поморы добрым мастерством:
Что во матушке, во тихой во Двинской губе,
Во богатой, во широкой Низовской земле
Низовицане-ти, устьяне * промысловые
Мастерят-снастят суда — лодыи * торговые,
Нагружают их товарами меновными
(а которые товары в Датской надобны).
Отпускают же лодыи-те за синё море,
Во широкое, студеное раздольице.

Вспомнил я былинну — и как живой встает перед
глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов.

„Всякий спляшет, да не как скоморох“ *. Всякий
поморец умел слово сказать, да не так красно, как
Пафнутий Осипович.

Весной, бывало, побежим с дедом Пафнутием в море.
Во все стороны развеличилось Белое море, пресветлый
наш Гандвик.

Засвищет в парусах уносная поветерь *, зашумит,
рассыпаясь, крутой взводень, придет время наряду и
час красоте. Запоет наш штурман былинну:

Высоко, высоко небо синее,
Широко, широко океан-море,
А мхи-болота и конца не знай
От нашей Двины, от архангельской...

Кончит былинну богатырскую — запоет скоморошину.
Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю,
столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу
питаю.

Поморы слушают, как мед пьют. Старик иное и за-
церемонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду на по-
лятах запою — под окнами хоровод заходит. Артели
в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся.
За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя
было с отчеством. На промысле никакой работы задеть*
не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай
пой да говори... Вечером народ соберется, я рассказываю.
Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет.
Вечера не хватит — ночи прихватим... Далее один по
одному засыпать начнут. Я спрошу: „Спите, креще-
ные?“ — „Не спим, живем! Далее говори“...

Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибау-
ткой: „С ворона не спою, а с чижа споется“. И закончит:
„Некому петь, что не курам, некому говорить, что не
нам“.

Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича, и склад-
ное, красивое его слово нескладно потом переска-
зывал.





Детство в Архангельске



ама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шли на паруса на корабельные верфи*. В мастерскую заходили моряки. Здесь увидел молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было трудно. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посещала за работой, в праздники — с толстой рукописной поморской книгой у того же окна.

Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:

— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Такой щеголь...

— Машка, ты это к чему?

— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет.

— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать. В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.

Вскорости дсда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт.

— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и...

Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.

— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь!

Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.

Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздника дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.

Молоденькая Иванова взглянула, да и замерла. И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит.

Но и дед не слепой, приоткрыл раму:

— Что ходите тут?

— Малину беру.

А уж о Покрове. Снег идет.

Старик к дочери:

— Аннушка, что плачешь?

— Ох, зачем я посмотрела!

— Аннушка, люди-то говорят, ты ему надобна.

Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели разноцветные рисунки „Винограда российского“ *, писанного некогда в Выгорецни... Помолчали; гость вздохнул:

— Вы всё с книгой, Анна Ивановна... Вероятно, замуж не собираетесь...

— Ни за царя, ни за князя не пойду.

Гость упавшим голосом:

— Аннушка, а за меня пошли бы?

Она шепотом:

— За тебя нельзя отказаться...

В Архангельском городе был у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.

Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки; окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы,

двери расписаны травами. По наблюдникам* синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство.

...Первые годы замужества мама от отца не оставалась, с ним в море ходила. Потом хозяйство стало дома задерживать и дети.

У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.

Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:

Баю, бай да люли!
Спи-ко, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетёру стрелец...
.....
Ты на елке тетёрку имай,
На озерке гагарку стреляй,
Еще на море уточку,
На песочке лебедушку.
.....

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — всё поет.

Отец у нас всю навигацию в море ходил. Радует, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:

— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь напина!

— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.

— Я сама нашью, модных.

Сестрица шить любила: ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.

Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас будут сосновые,
Нашёсточки, лавочки еловые,
Весёлышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.

Он поживет с нами немножко и в море сторонится.

Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение. Машины я любил смотреть, только гулко, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака и об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на угор, смотрит к северу; на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:

— Ох, деточки, что на море-то делается! Папа у нас там!..

Я утешаю:

— Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.

А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.

Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гости поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стыннут чашки.

Хозяйка ободряет:

— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно* домой ждите.

Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.

В листопад придут в город кемские* поморы, покроют реку кораблями.

Утром, не успеет кошка умыться, к нам гости наехали.

Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас всё прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом, шутя, и помянули: „Вот уж Мошкарь приедет“.

Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:

— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкарком...

Ребячьим делом я не раз впросак попадал из-за этих несчастных прозвищ.

Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.

На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы, вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:

— Варгас, стой-ко, стой!

Он лошадь остановил, ждет, недоумевает...

Я выбежал за ворота.

— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать.

А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще...

Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рывкнет да вверх летит, рывкнет да вверх летит. Из люльки девочка не выпадет, только вся девочка вверх тормашками — где нога, где окутка, где пеленка... Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.

Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульянной избе много, поспим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты — странников убивать. А чуть приви-

дится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится:

— Я маленька, меня скоро съедят буки-ти!

По Уйме-реке лес. Там какой-то „орды“* боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.

Ягоды поспеют — отправимся в тундру по морошку. Людно малых идет.

Вдали увидим пень, сажени полторы, как мужик в тулупе:

— Ребята, эвон де орда-та!

Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с белку, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.

Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе всё и гостим, куча ребят трех—шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — „смотренье, рукобитье, пониманье“. Девчонки у матерей с кринок сливок наснимают, ходят, кланяются, угощают — честь честью, как на свадьбе...

Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что позже творилось, сам помню.

Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, прибаутки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.

Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят* кричать:

— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..

Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.

Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.

Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.

В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная.

Грамоте больше учила мама. Букву А называла „аз“, букву Б — „буки“, В — „веди“, Г — „глаголь“, Д — „добро“. Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк...

Для памяти я и декламирую:

Аз, буки — букашки,
Веди — таракашки,
Глаголь — крючки,
Добро — ящички.

И другие стишки про буквы:

Ер (ъ), еры (и) — упал с горы.
Ер (ъ), ять (ѣ) — некому поднять.
Ер, ю — сам встаю.

Азбуку мне отец подарил к Новому, 1902 году, поэтому вначале было написано стихами:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит.
Рано, весело вставай —
Заря счастье кует.
Ходи право,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно,
Дружно, не грузно,
А врозь — хоть брось!..

Отец, бывало, скажет:

— Выучишься — ума прибудет.

Я таким недовольным тоном:

— Куда с умом-то?

— А жизнь лучше будет.

Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.

В городе я поступил в школу. уже хорошо умея читать и писать.

Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за нее не любил я школы.

бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:

У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
— Вот те лодка с веслами,
Мал гулять с матросами!..

Или еще:

Пойду на́ берег морской,
Сяду под кусточек.
Пароход идет с треской,
Подает свисточек.

Насколько казенная наука от меня отирядывала*, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.





Рождение корабля



менитые скандинавские судостроители прошлого века Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились неумению архангельских мастеров и сказали:

— Равных негде взять и не сыскать, и во всей России нет.

Вот какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей,

без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком.

Но и в нашем Поморье не каждая деревня рождала славных мастеров. Как солнце и месяц перед звездами, гордились у нас перед другими деревнями Подужемье и Сума, Кемь и Уна, Лодья, Емецк и Соломбала.

Если у мастера рука легкая и он строит корабли, какие море любит, походливые и поворотливые, такого строителя заказчики боем отбивали, отымом отымали; ежели занят, то, словом заручившись, по три года ждали. Дождавшись, мастеру досадить боялись — криво ли, право ли хозяйской мошной трясет.

Суда у нас строили: шкуны*, боты*, ляхтеры*, кутерá*, ёлы* мурманские, шнёкн*, карбаса морские и речные.

Прежде были лоды, бригантны*, кочи*, барки — всё большие корабли; на них давно мода отошла.

На шнеке, древнем беспалубном судне, еще мой отец плавал в Датску — Норвегию.

Рассказывал, как придем в Стокгольм или Копенгаген на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и рисовать наши суда — то-де корабли древних мурманов (норманнов).

Строили из сосны. На самой дешевой еловой посудине мачта, бушприт, стеньги — непременно сосновые. Ну, остальной рангоут* из ели. Ель на воде слабее сосны.

У Белого моря берега: Зимний, Летний, Кемский, Терский. И на каждом берегу те же суда строили своим манером.

Кому это дело в примету, тот, и в морской дали шкуну усмотрев, не только какого она берега, но и каким мастером сработана назовет.



Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конон Иванович Тектон¹.

Он родился у Белого моря, на Кемском берегу, в бедной рыбацкой семье. Пройдя наше поморское судостроительство, уехал в Норвегию и Данию. Здесь изучал языки: английский, немецкий, норвежский, математику, навигацкие науки, морскую астрономию, рисование. Не покидая наук, работал на верфях. Вернулся на родину уже в зрелом возрасте. Рано овдовел, рано сыновей потерял: утонули зуйками на Мурмане.

В дни моего детства слава Тектона еще трубила на берегах Белого моря.

¹ Фамилия мастера была Второушин, но более известен он под прозвищем Тектон, что значит строитель.

Конону Ивановичу было уже полсотни годов. Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны, боты, бриги, гальоты и ёлы сшивая. Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук строителя, и не однажды докупались до Конона, манили деньгами, но он не покорыстовался и не поехал. А ведь сам во всю жизнь не имел ни кола ни двора. Что заработает, всё раздаст в долг — без отдачи.



Кому Конон дело делает, тот в его воле ходит.

Строил однажды Конон океанское судно богатому купцу. Была весна, и дело приходило к концу.

И у купца гостил брат, важный петербургский чиновник. Этот господин повадился кутить на постройке со своими приятелями. И мастер того не любил.

Однажды срядился Конон с подмастерьями, с Олафом да с Васнем, в город. В городе они разошлись. Вечером мастер первый воротился на карбас и сел дожидаться ребят. Тут — не ждан, не зван — подкатил к карбасу

на трех извозчиках хозяйский брат с веселой компанией; все пьяны и с песнями. Да начали нахально приказывать:

— Вези к новопостроенному судну! Нам угодно, там гулять будем.

И Конон отказал:

— А нам не угодно. И гулять там не будете.

Они не послушались, только пуще закуражились и полезли в карбас самосильно. А один, толстый, прыскал и сбил с Конона шапку, не зная его плотной силы.

Тогда Конон Иванович, губу закусив, поднял толстого за шиворот и огрузил в воду, чтобы его благородие прохладилось. И, опять тряхнув, бросил в карбас, так что и поддон* заговорил.

Гуляки — на Конона с кулаками:

— Утром мы тебя, хама, в тюрьму бросим, а теперь вези, куда приказываем!

И который с ружьем, учал палить и одному приятелю обжег ухо.

И Конон, бояся головщины*, открыл парус и сел за румпель. До судна бы ходу четверть часа, а уж карбас бежит и все три четверти. А те поют да играют — не понимают, что кормщик правит к дальнему пустому острову. Да и тот накрыло туманом.

Как на широком месте качнуло, хозяйский брат забранился:

— Ты пьян, мужик! Куда ты правишь? Почему долго едем?

И Конон ответ держит:

— К ночи вода кротка — мелка, а карбас от народа грузен. У постройки на мель сядем. Обойдем подальше, где берег глубже... — И тут, рулем покосив, Конон причалил к берегу: — Приехали!

Те выкарабкались на незнакомое место и опять взялись грозить и лаять, зачем стройки не видно. И охотник опять палит, как дикий! А Конон выкинул им корзины с вином и закусками, веслом отпихнулся — да и был таков...

Целую ночь бродили господа-те по песку в тумане. Судна панскались, перевозу накричались, куда попали, не понимают.

Ну, коньяков с собою было на заливке — небось не озябли.

А утром туман снялся, и они увидели себя на голой песчаной кошке. И судно новопостроенное видать не так далеко: стоит на другом острове за рекою.

Ах да руками мах, а на том не переедешь...

Вскоре подобрали их устьянские бабы-молочницы: плыли в город с молоком.

А кто прав остался?

А Конон.

Хозяин, бояся, как бы мастер на гнев работы не покинул, тот же день прибежал на стройку, по палубе за Кононом ходит. Брата с командой всех приругал:

— Самн себе они, страдники*, страм доспели. Как ты их, дорогой мастер, выучил... Хы, хы!.. А у нас с тобой нету обиды. Нету!

Однако по жалобе петербургского чиновника губернатор хотел было выкинуть Конона Ивановича из города, да раздумал: кончилась Японская война, начались забастовки 1905 года.



В те дни и годы отобралось маленькое стадышко низовских моряков в артель, чтоб не кланяться хозяевам, не глядеть из чужих рук, а самим оселить постройку большого судна для океанского плавания. Моего отца выбрали артельным старостой и казначеем.

И отец загодя принае лес, и приплавил к городу на остров, и распилил, и коры обтесал.

Товарищи матерьял осмотрели, благодарили и спросили:

— Каким думаешь мастером строить?

А отец и говорит:

— У меня один свет в очах — Конон Второушин, да он сейгод в Кемь завяз...

Было, подумали на Пигина, кронштадтского мастера. Он давно насватывался, но помянули, что Пигин человек

зависимый, ему Пемецкая слобода* только палец покажет — он артельное дело бросит... Нет уж, без Конона Ивановича нам не сняться.

И, надеясь на прежнюю дружбу, что он прежде к нам хаживал, хлеба едал, квасу пивал, послался отец к Конону Ивановичу с письмецом:

„Любезный мастер и друг! Охота видеть твоего честного лица и сладких речей слушать. А мы тебе в Архангельском городе делов наприпасали. Воля ваша, а большинства наша!“

Старая любовь не ржавеет.

Мастер дела в Кемпи довершил и на оленках через Онегу приехал в Архангельск. Стал на постой в Соломбале и дал знать отцу.

Как мы обрадовались! Долго ждав, думали — не в Норвегу ли мастер убрался.

Тот же вечер отец собрал артельных:

— Как рассудите? Деда наши с осени строили, чтобы зимой закончив, на внешнюю большую воду спускать. А тут мастер прибыл при конце зимы.

Все зашумели:

— Радоваться надо, что прибыл, и всё тут!

Отцу давно хорошо. Утром он засоряжался в Соломбалу, запряг самолучшие санки. Взял и меня с собой.

Я говорю:

— Что бы мастеру-то самому к нам приехать!

— Так не водится. Он художник, он стронтель.

В Соломбале едем по Бессмертной улице, не знаем, который дом. А мастер сам нас укараулил, в окно сбарабанил.

Как зашли в комнату, справили Конону Ивановичу челобитье. И он равным образом, выйдя из-за стола, был челом.

Потом поздоровались в охачку. И которые с Кононом Ивановичем сидели два сличные* молодца, тоже встали и поклонились. Один быстрый, темноглазый, другой светловолосый, конфузливый. Тогда прошли за стол, стали беседовать и друг на друга смотреть. А Олаф да Василь — подмастерья — опять сели красить на листах разным цветом: синим, зеленым, красным. Нарисованы корабли, как их погодой треплет. Я сам рисовать до страсти любил и уж тут все глаза растерял.

Невдолги отец домой сторонился, и я с дива пропал, что о деле ни слова не сказано.

Дорогой я не утерпел:

— Про кораблик-то уж несколько не поговорили...

— Что ты, глухой! Ведь мы с визитом.

— Неужели они, папа, тройма* трехмачтовый корабль поставить могут? Подмастерья-то вовсе молоды.

Годы молодые. да руки золотые. А Конон! Нет таких дел человеческих, чтобы ему не под силу. Конечно, станут и артельные время от времени помогать.

Рекой едуши, отец всё свою думу думал, а я свою, только как стали к дому подыматься, я еще спросил:

— Папа, тебе любо ли?

— Как не любо! Пускай-ко наши толстосумы* поскочут. Они Кононка-то, никак, четвертый год добывают... А второе мне любо, что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься словес.



На масленице Конон Иванович у нас гостил. Его ждали — по крыльцу, по сениям половики стлали новотканые, по столам скатерти с кистями.

Я заметил, он ел малёхонько, редёхонько и пил — только прилики принимал. Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили разговор на копылья*. Мастер начал спрашивать, кто да кто в артели, очень ли купечество коснется, на какой реке и давно ли лес для стройки ронили, и какая судну мера, на сколько тысяч груза.

И отец ему учал сказывать:

— Лес сосновый, рубили на Лае-реке, зимой, два года назад. Деревья — ни кривулины, ни свили*, ни заболони*, — настоящая корабельщина. Поне все пилено и тесано, мастера дожидается.

На полу мелом накиннули план, и по этому чертежу мастер повел умом. Пошла беседа на долгий час.

Наконец дело отолковали, и порядились, и руку другу другу дали. Значит, надежно с обеих сторон.

Я тут же в сторонке сидел, помалкивал. Охота была спросить, почему художники Олаф да Василь не пришли, да не поемел.

На следующей неделе отец с Кононом многожды ездили на место стройки. Вечерами говорил матери:

— Ты, моя хозяйшшка, мастера наблюдай, пироги ему пеки да колобы. Мне его моряки поручили... А вы, робятки, будьте до Конона Ивановича ласковы, чтобы вас полюбил.

Того же месяца за Соломбальским островом начал строиться наш корабль „Трифон“.

На острове на песке лежали деревья золотые, прямые, дельные. И мне дивно было, как из этого лесу, короря и тесни, судно родится.

Вот как дело обначаловал Конон Иванович Тектон.

На гладком, плотном песке тростью вычертил план судну, вымеряя отношение частей. Ширину корабля клал равной трети длины. А половина ширины — высота трюма. На жерди нарезал рубежки и такой меркой рассчитал шангоуты. Чертил на песке прямые углы и окружности все без циркуля, на глаз, и все без единой ошибки.

По этому плану сколотили лекалы*. Тогда приступили к постройке.

Выбрав дерево самое долгое, гладкое, крепкое, ровное, положили матицу, или колоду, то есть основание корабля — киль.

На киль легла спина корабля, поддон. Продолжение кия — упруги или штевни; к носу — форштевень, к корме — ахтерштевень.

Как у тела человеческого на хребте утверждены ребра, так в колоду, в хребет вростили ребра корабель-

ные — шпангоуты. Они в ряд, как бараны, рогами вверх уставились.

Как на кости у нас наведены жилы и кожа, так остов корабельный обшивали изнутри и снаружи широкими сосновыми досками.

Чтобы обшивка льюла к шпангоутам, доски парили. Была сделана печь с водяным котлом. Пар валил в длинную протянутую у земли деревянную трубу. В трубе и держали тес до гибкости.

Как кожу дратвой, прошивали корпус вересовым* корнем и железом и утверждали дубовыми гвоздями — нагелями.

Концы у нагелей расклинили и расконопатили, и железные наружные болты внутрь загнали и внутри раскленали.

Потом всё проконопатили и проемолдили.

Не на час, не на неделю — на век строил мастер Конон Тектон! В то время распута прошла и ожили реки.

С борта на борт перекинул Конон Иванович перешвы — бимсы, на них постлал палубу. А в трюм, в утробу, на поддон намостили подтоварье — ставни из тонких досок, чтобы груз не подмокал.

Шла работа — только топор посвечивал. С утра, со вехожего и до закатимого стукоток стоит под Кононову песню. Далеко слышно по воде-то.

А пошло время к лету — и три мачты кондового лесу поднялись над островом. Три мачты ставят, когда судно на дальнее, океанское плаванье; если на ближнее, в своем море, то две.

Передняя — фок - мачта, средняя — грот - мачта и задняя — бизань.

С носа от форштевня уставился бушприт.

И как скрипичный мастер струны настраивает, а они гудят и звенят, так Тектонова искусная рука протянула снасти к мачтам и реям, к штевням и бортам.

В оснастке весь стоячий такелаж* завели по-богатому — из четырехрядной чесаной пеньки, только такелаж бегучий — из обыкновенной, трехрядной.

Да в ту же оснастку корабельную блоков одношквальных и двухшквальных с железной оковкой не меньше полусотни штук. От скула к носу, где хлюсты — ноздри корабельные, — наверху цепи и якоря. Якорь в семнадцать пудов да якорь в пятнадцать пудов. Цепь в шестьдесят пять сажен да цепь в пятьдесят сажен. И белыми полотняными парусами нарядили грот-мачту и фок-мачту с реями; и на бизань — косые паруса.

Много было дела у корабля, и редкий день у мастеров не работали добровольные помощники из артели. По бортам, по мачтам у рангоута все ковано железом, и дверцы, и ободверины* покованы медью. И оконцами посветить „Трифону“ не забыл Конон Иванович. И печку сложили. И помпы в трюме — воду откачивать.

Потом судно до ватерлинии* окрасили красной, а побочины* — яркой зеленой и белилами. А у носа и по корме золотыми литерами — имя „Трифон“.

Кратко сказать, все было крепко и прочно, дельно и хитро. Кораблик как сам собою из воды родился.

Кто посмотрит, глаз отвести не может.

А медь сияет на солнце!..

Осенью, когда начал лист на лесу подмирать, и судно было готово.

Последний день августа завелась у нас стряпня, и первого сентября утром, когда обрадовалась ночь заре, а заря — солнцу, поплыли артельные к острову, где „Трифон“ строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на городках, у вод глубоких, у песков рудо-желтых, украшен как жених, а река под ним как невеста.

...Мастер Конон сошел по сходям, стал на степенн* и поклонился большим обычаем*. У него топор за поясом, как месяц, светит.

И мы на ответ кланялись равным образом.

Артельного старосту, отца моего, мастер взял за правую руку и повел вокруг судна и, обойдя, поднялся на палубу. Следом шли все.

В то время вода заприбыла, стала на мерную стень, да пал ветерок береговой.

Тогда Конон с Олафом сходят на землю и берут в топоры два бревна, держащие судно на городках, над водами.

В то время у старосты нуще всех сердце замерло... И внизу треснуло, и судно дрогнуло да прыгнуло с городков в воду. И я носом о палубу стегнулся, да и все худо устояли.

А отец смеется:

— Что ты, воронье перо, востренился?



Мастер, поднявшись на палубу и став на стеньгу, говорил:

— В чем не уноровил и не по вашему обычаю сделал, на том простите.

Все к нему стали подходить и поздравляться в охапку. А „Трифон“ покачивался на волнах — видно, и ему любо было.

Тогда отдали тросы и отворили паруса. В паруса дохнул ветер. И пошел наш корабль, как сокол ширясь на ветрах.

Все песню запели:

Встаньте, государи,
Деды да бабы:
Постерегите, поберегите
Любимое судно,
Днем под солнцем,
Под частыми дождями,
Под буйными ветрами.
Вода-девица,
Река-кормилица!
Моешь пни, и колодья,
И холодны каменья.
Вот тебе подарок:
Белопарусный кораблик!

И обошли кораблем далече по солнцу. А паруса обронив, бросили якоря у того же острова на живой воде.

На палубе накрыт был стол со всякой едой, рыбной и мясной, с пирогами и медами. За столом радовались

до вечера. Таково напировались, ажно в карбас вечером погрузились не без кручины. Егор Осипович с Иван Петровичем, старые капитаны, в воду пали, мало не потонули. Куда и хмель девался. Домойплыли, — только мама да Конон, да еще трое — четверо гребли. Остальные вовсе в дело не годились. А к берегу причалили и на гору взойти наши гости не могут, заходили по въезду на коровушках. Вот сколь светлы были!

Конец сентября отец отвел „Трифона“ в деревню Уйму, города выше десять верст, на зимовку.

А придет весна красна, и побежит наше суденышко на Новую Землю по моржа и тюленя, пойдет на Терский берег за семгой, в Корелу за сельдями. Повезет в Норвегу пеньку и доски, сало и кожу. Воротится в Архангельск с трескою и палтусом.

Годы судов называются у нас водами. Шкуна, прожившая три года, плавающая четвертую навигацию, называется „шкуна трех вод“, или „шкуна на четвертой воде“.





Мурманские зуйки

Зук, или зуй, — наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение — обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжелая, и больше всего в зуйки или сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери была одна забота: чтобы сыннишка в семье помог и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому.

Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания — еды и одежды, — пятьдесят рублей деньгами, десять пудов рыбы соленой, пять пудов сушеных тресковых голов.

Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной кто, близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с девяти, с десяти повезут в море работать навывать. Ходили зуйки и у отца и брата на корабле. Таким полдела.

Корабли поморские в море идут, когда оно очистится от льда. Перед походом, дома, — отвальный стол, проводинный обед. Накануне зук бегают, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет:

— Хозяин с хозяйшкой, пожалуйста к нам на обед. Милости просим! Милости просим!

Во время пированья зуйки столыничают и чашничают с шитыми полотенцами через плечо. Столытники режут хлеб и угощают, чашники разносят братины с квасом и брагой. Обедает зук с хозяйкой после гостей.

Во время стола кто-нибудь в котелок, в дно, постукивает, скажет:

— Батюшко, припади!

Это просят ветра посылнее припасть, дунуть.

Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком и плачет и поет:

Сизенький мой соколочек,
Миленький голубочек,
Скатна моя жемчужина,
Желанное мое дитятко!

Беззаботные годочки прокатились,
Беспечальные денечки миновались!
Не в доцвете траву шёлкову
С поля убираю,
Не в доросте моего рождёного
В работунку провожаю...
Вхожее ты мое солнышко,
Свеча ты моя воскоярова!
Твоя молоденька головунка заподумывает,
Ребяческо сердечунко запобаливает!

Вспомнит мать и младенческие годы сына:

Ты спал у меня, высыпался.
Ты ждал, дитя, дожидатся
От отца веселого покшканьца.
От матери тихого побужаньца,
От брателка ключевой воды,
От сестрицы полотенынка.

У наших поморов слово слово родит, третье само бежит.
Слушая мать, и парнишка всплакнет.

После обеда на жальник сходят — на кладбище —
с родными проститься.

На пристань идут, каждому нищему подают:
— Нате-ко на поветерь.

И все ветречные и поперечные отъезжающим поветери — попутного ветра — желают.

Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают,
ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны.

Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом — и вся грусть забудется. Которая слеза и катилась, та назад воротилась. В море простор, ширь, свет. Любо в море!

Матрос песню запоет, в гармонь заиграет; смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь морской ростом с корову, любит перевертываться да играть. Пробку свою оттыкает, из зашейки фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в голомень* летит.

Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбирают... В дали морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним поморским обычаем поздороваться. Капитан берет медную, посеребренную трубу-рупор и кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте!

Те отвечают:

— Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!

Мы опять:

— Куда путь-дорогу правите?

Ответ уж издалека донесет:

— Из Стокольма в Архангельской!..

Какой-нибудь матрос-молодожен схватит трубу да крикнет тем, идущим в Архангельск:

— Агафье моей расскажите, что меня встретили.

Зуйки опять за делом: медные котлы начиняют. Чайки на берег воротились. Кругом небо да вода.

Летом благодать в море, а осенью, в туман, страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут — в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы:

— Не сгубите-е!!!

Тошно в море — земля и небо стонут.

Самое опасное место в туманы Горловина — выход Белого моря в океан. Тут всегда волнение, толкунцы.

Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны Ледовитый океан. Когда корабль идет на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы черные, древние, как медведи, лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна воротит. Кораблик в океане, как часечка маленькая. И подвигается на него „девята“ — девятый вал, что всех больше. Вал черный, гребень белый — кружево белое на черном бархате. Ну, думаешь, сейчас закроет, и всё тут... Ан нет! Подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенком поиграет, да и спустит вниз. Только сердце ёкнет да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану.

Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок, — горе, если со всех румбов зановертывает.

В такую немилостивую погодушку корабельная команда по несколько суток не спит и не ест.

Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников:

— К снастям, други, к снастям!.. Что полтинники-то на меня выкатили? Крепче кливер*. Рочи* шкот!.. Ух, керосином бы вас облить да сжечь! Ух, вы-ы!..

Среди зуйков бывали тоже продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимирко Бельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на гальоте.

В непогодушку, когда старик-океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирко непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. Ясно, хорошую затрещину и заработает. Кончится шторм, юнга Бельских ходит с подвязанной щекой.

Сувор к нему:

— Ты что, Владимирко?

— „Что“! Глаз-то худо заоткрывался...

— Ну?.. Сгоряча-то, вишь, не разберешь. По шее бы надо.

— Себя бы бил по шее-то!

— Любя ведь, леший...

— „Любя“... Теперь как на берег сойду? Ни погулять, ни девкам показаться. Инкотора на меня не обзарится.

— На экого винограда чтобы не обзарились! Да ты первый парень по деревне.

— „Первый парень“!... А где наряды-то? Ты много ли нашёл?

— Ужо, не ругай, подарю тебе манишку норвецку голубу.

Этот Окладников „хороший“ был, а случалось на бедовых налетать. В шанке зусек в каюту не зайди. Со старшим первый речь не заводи. Жди, когда заговорят.

Самодуры бывали среди поморов-судовладельцев. Вовсе загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, он и запоет печальную, долгую песню:

В чужих-то людях рано будят,
На работунку гонят до зарн.
С той-то работунки рученьки
Болят по плечам.
Со воздыханьца грудь болит...

По Мурману богато становищами — фпордами. В каждой такой бухте есть поморский стан — летний поселок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу. Зуйки в океан выходят редко, их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить и уху, да и квас чтобы был. Вот идет у бедных ребят стряпня — рукава стряхня. Замажутся, припотееют, а всё с песнями:

Сам толку,
Сам мелю,
Сам и по воду хожу.
Каневарничаю,
Пивоварничаю!

Хлебы зуй катаст — поет:

Уж и сею я муку
На полатях на боку!
Уж я по полу катаю,
По подлавочью валяю.
На печи в углу пеку,
Когти-ногти обожгу!
Растворяю на дрожжах,
Вынимаю на вожжах.

Всего хуже ребятам хлебы печь.

Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин, рассказывал: будучи зуйком, пришлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню емкостью в несколько ведер взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачало, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников, накатало и в их сапоги.

В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забранит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плынут ковриги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся.

В мурманских станах живут временно, одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного — лапы у поварят в саже. А всё с песнями. Один поет:

Три дня печи не топил,
Много сору накопил.

Ложки вымыл,
Во щи вылил!

Другой припевает:

Косяки скребу,
Пироги пеку...

Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много:

Кисни, квас,
С полу грязь.
Капитану
Вырви глаз!

Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий. Каково мальчишкам заперти сидеть, когда старшие гуляют! Зато как привезут этого капитана с берега мертвецки пьяного да повалят спать, ребята тихонечко танцуют около и припевают:

Как за эту выслугу,
Что нас на берег не выпустил,
Тебя трясло бы потряхивало,
Выше печи бы подбрасывало,
Под семью одеялами,
Под тремя покрывалами.
Тебе сквозь печь бы провалиться,
Во щих завариться,
Пирогом подавиться!

.

В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего — хоть так, бедные, душу отведут.

Приход шнёк и ёл в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чувят. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни:

— Кормщики с рядовыми, пожалуйста хлеба нсь!

Надо вежливо звать. Летаёт этакый чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно:

— Господа промышленники наши, милости просим обедать!

Про себя-то всего насулит...

Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой, хотя бы холщовой, скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол; ее скорей с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зук обязан истопить. У иного дровишки худящи, мозглящи, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада.

Дразнят друг друга:

Витька баню топит,
Ситом воду носит.
Решето-то розно,
Он принес, — порозно!*

Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке четыреста метров длины. Тридцать связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лёсок — форшней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья острые, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколь долгов ярус, если в ярусе тридцать тюков, а в тюке четыреста метров...

Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытасканы на берег, взрослые спят или, бывало, выпивают, беседы собирают, песни поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок:

Я вставал поутру-ввечеру,
На босу ногу топор надевал,
Топорищем подпоясывался.
Не путем, не дорогой шел —
Возле лыка гору драл.
Увидал на утке озеро,
Топором в нее шиб — не донниб;
Другой раз шиб — перенниб.
В третий раз попал, да мимо!
Утка всколыбалась, озеро улетело.

А то запоем кто-нибудь один:

Небылица в лицах, несбывальщина,
Несбывальщина, неслыхальщина.

По поднебесью сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивает,
Он черным хвостом принаправливает.

И все дружно подхватывают припев:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

А с горы корова на лыжах катится,
Ноги рёшширя, глаза выпуча.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

На дубу свинья гнездо свила,
Гнездо свила, деток вывела.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Малы деточки поросяточки
По сучкам сидят, по верхам глядят,
По верхам глядят, улететь хотят.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Таракан гулял сорок лет за печью,
Вдруг да выгулял он на белый свет.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан в лохани воду:
— А не то ли, братцы, море синее?
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан, из чапки ложками хлебают:
— А не то ли, братцы, корабли бегут?
Корабли бегут, на них гребцы гребут?
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина...

Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек сорок эких бородачей, повалятся на утес, заложат руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую. А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слышал да видал, не забудет:

Ох, да во синнем-то да во широком-то раздольице,
Ох, да подымалася погодушка немилостива.
А и плыли туры по синю морю,
Ох, да выходили туры на белы пески.
Ох, да им навстречу турица златорогая:
„Уж вы здравствуйте, туры,
Где вы были, что вы видели?“ —
„А мы видели диво-дивное:
Не грозна туча затучилась
И не вихри в поле солетались,
Ох, да подымался Батый с Золотой Ордой
И со всею своею силою несметною...“

На мурманских пахтах — утесах — гнездятся тысячи тысяч птиц: гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй

пух можно собрать, гагара в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть: птица бросит всё и навеки отсюда улетит.

Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц.

Кроме пуху, собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые с крапинками. На вкус рыбой припахивают, не все любят.

И яйца брать, и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кинит прибой. Как мухи по стене, ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чашек крику, стону, воплю — шума волн морских не слышно.

А дни — день за днем в работе, — как гуси, пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости — поморы поплывут на парусниках по домам.

Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят: на верхушке мачты есть шарик — клотик. Назначают состязание: кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шнур, раскинув для равновесия руки, ноги, и вкружится в такой вершинке, на полном ходу корабля, при качке. Внизу, на палубе, героя ждет награда: баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи (пере-

кладина у мачты), и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут, ничего потом не бояться.

Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками.

Экинажецка рубанка,
Норвецкой вороток;
Окол шесечки платок,
Словно розовый цветок!

Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревьям. Дома матери рады, сестры веселы. Собаки — Дружки, Бордики, Лыски, Коны — приезжим на грудь скачут.





Миша Ласкин



то было давно, когда я учился в школе.

Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:

— Эй, ученик! Зайди на минутку!

Захожу и спрашиваю:

— Тебя как зовут?

— Миша Ласкин.

— Ты один живешь?

— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык.

на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!

Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:

— В добрый час. Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание.

Так я подружился с Мишей.

Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.

Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдюжину ребят укладывали в лодку весла.

Старший из ребят кричал:

— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.

И они все ушли.

Миша говорит:

— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промыслить. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.

Мы взяли из лодки весла и зашпахали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.

Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на

берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.

Миша сказал старшему мальчику:

— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.

Мальчик говорит:

— Мы весла потеряли.

Миша засмеялся:

— Весла я спрятал.

Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:

— Вася Ёрш, куда ползешь?

Он зачерпнул свободною рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: „Этот будет драться“ — и соскочил с тропинки в грязь.

А Миша ухватил конец Васинной мачты и кричит:

— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.

Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: „Миша только и глядит как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь“.

Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.

Я говорю:

— Это тебе.

Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.

Мой отец был корабельный мастер. Однажды он строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил: — Ешь, мой голубчик.

Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:

— Пей, мой желанный.

Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: „Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его“.

И не сказал товарищу, один убежал.

Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.

Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:

— Почему ты не зашел за мной?

Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.

На корабле отец сказал мне строго и печально:

— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.

Минша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и сажать на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.

Минша Маскин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное искусство увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получают у Минши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капли, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбку промысливать и уток добывать.

Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Миншинных знакомцев. Минша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стояла не дешево, но мастеру понравился Миншин разговор, Миншино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину — к началу навигации.

Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Минше, дали денег на задаток.

Мы с Васей ликовали, величали Миншу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.

Перед самой распутой заняли мы трое в Рыбопро-

мысленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит:

— Скоро и у нас будет красовитое суденышко!

Миша помолчал и говорит:

— Одно не красовито: снова править деньги на отца.

Вздыхнул и я:

— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!..

Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Варпаховский. Он к нам подходит и говорит:

— Покажите мне ваше письмо и рисование.

Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.

— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.

И вот мы получили для переписывания книгу сто-тодолую, премудрую, под названием „Морское знание и умение“.

В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас списает в день десять страниц. Трое списуют тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.

Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а завтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.

Он для спешных дел побегал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.

— Давай, — говорим, — сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.

Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но издумаем о Мише, и на уме станет светло и явится понятнее. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.

Варнаховский похвалил работу и сказал:

— Завтра в Морском собрании будут заседать степенные*, я покажу вашу работу. И вы туда придете в полдень.

На другой день мы бежим в собрание, а нам на встречу Миша:

— Ребята, я книгу разорил?

— Миша, ты не разоритель — ты стронтель. Пойдем с нами.

В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.

Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:

— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.

Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.

— Господни степенный, — сказал Миша, — эта кни-

га — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?

Этим словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое, а я взвопил со слезами:

— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!

Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатались по щекам.

Старичище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас тронх и сказал:

— На дворе ненастье, дождик, холод, а здесь у нас благоуханная весна.

С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.

Старый друг мне пишет:

„Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами“.





Морское знание



отец мой всю жизнь плавал на судах по Северному океану. Товарищи у него были тоже моряки, опытные и знающие. Особенно хорошо помню я Пафнутия Осиповича Анкудинова. Он был уже стар. Когда собирался в гости, концы своей длинной седой бороды прятал за жилет.

Бывало, я спрошу его:

— Дедушка Пафнутий, вам сколько лет?

Он неизменно отвечал:

— Сто лет в субботу.

Отца моего Пафнутий Осипович иногда называл „Витька“, или „Викторко“. Я и пеняю отцу:

— Батя, у тебя у самого борода с проседью, какой же ты „Витька“?

Отец засмеется:

— Глупая ты рыба! Он мой учитель. Я в лодье Анкудинова курсе морской науки начал проходить.

— Батя, как же он тебя учил?

— Мы, дитя, тогда без книг учились. Морское знание брали с практики. Я расскажу тебе о первом моем плавании с Пафнутием Анкудиновым. Ты поймешь, как мы учились...

— Пафнутий Анкудинов превосходно знал берега Новой Земли, где были промыслы на белого медведя, на песца. В эти дальние берега Анкудинов ходил на лодье — большом парусном трехмачтовом судне. На таком судне Анкудинов был кормщиком. Кормщику была „послушна и подручна“ вся команда лодыи. Самым молодым подручным был я. Спутницей нашей лодыи всегда бывала лодья другого архангельского кормщика Ивана Узкого.

Однажды, возвращаясь с промысла, обе лодыи шли вдоль западного берега Новой Земли. Ветер с берега развел лихую непогоду. Наш кормщик успел укрыться в губу Пособную. Лодью Узкого стало отдирать от берега, и она потерялась из виду. Через четыре дня береговой восточный ветер сменялся южным, „русским“ ветром. Этот ветер держал нас в Пособной еще четыре дня. Русский ветер сменялся ветром с севера. Тотчас Анкудинов подымает якоря, открывает паруса и отправляется искать Ивана Узкого.

Продолжая прерванный курс, Анкудинов опять шел вдоль берега. Поветерь была неровная. Временем накатывал туман. Мы убавляли паруса, шли тихо, по течению.

Я знал, что Анкудинов не пойдет домой, на Русь, без Ивана Узкого, и думал, что пойдем обыскивать все попутные заливы. Но кормщик наш подряд два дня и две ночи шел вперед, не обращая никакого внимания на берег, чуть видный сквозь туман. Я удивился еще больше, когда кормщик круто управил лодью в залив, ничем не отличный от пройденных. Не я один, и другие из команды говорили:

„Будто тебя, кормщик, кто за руку взял и повел в эту маловидную лахту“ *.

Но, действительно, здесь, в этой лахте, Иван Узкий ждал Анкудинова.

Я удивился в третий раз, когда увидел, что нас ждали именно сегодня и Узкий с раннего утра велел готовить обед на тридцать человек, по числу команды двух людей.

За обедом ученики Ивана Узкого говорят:

„Ты, Виктор, дивился на своего кормщика, а мы на своего. Как только мы забежали в эту лахту, Иван Узкий стал говорить, как по книге читать: „Мы сидим без дела здесь, Анкудинов тоскует там“. Дня через три кормщик говорит: „Сегодня Анкудинов выскочил из заключения и устремился к нам. То летит на крыльях, то ползунком ползет“. А вчера, в канун вашего прихода, высказал: „Завтра, в час большой воды *, можно ждать гостей“. Прямо как колдун читал по тайной книге“.

Старшие обедали в молчании, и наш разговор был слышен. Иван Узкий рассмеялся и сказал:

„Кормщик Анкудинов, объясни моим ребятам наше колдовство“.

Анкудинов стал объяснять:

„Как известно, мы в разлуке были десять дней. Первые четыре дня восточный ветер меня держал под берегом, а вас гонил открытым морем. В следующие четыре дня дул русский ветер. Он опять держал меня на месте, но вам позволил справиться к берегу.

Как я, оставшись далеко, в Пособной, мог предугадать, где кинет якорь лодья Узкого?

Я знал, сколько верст в сутки могла проходить ваша лодья. За четыре дня, при ваших многотрудных обстоятельствах, вы сделали в направлении юго-запада четырехста верст. Этот счет мой сразу прекратился, когда ударил противный вам ветер с юго-запада. Немедленно, на всех парусах, вы устремились в берег.

Как мог я в точности определить место вашей стоянки?

Зная, что вы ушли на юго-запад и находитесь от Пособной на расстоянии четырехсот верст, я сообразил, какие бухты и заливы там имеются. А так как у меня и у Ивана Узкого один и тот же опыт, один и те же мысли, я знал, что он выберет эту лахту.

Точно так же кормщик Узкий знал, что я в четыре дня берегового ветра не двинусь из Пособной. Он знал, что и в следующие четыре дня дует ветер, не попутный для меня. В тот день, когда взялся северный ветер,

Иван Узкий сказал вам: „Сегодня Анкудинов выскочил из заключения“.

Расстояние в четыреста верст, при попутном ровном ветре, можно одолеть за тридцать два часа. Иван Узкий учел, что за туманами мы шли без парусов, учел неровность ветра и для этих трудностей прибавил к нашему походу еще часиков двенадцать. Его расчет был точен.

День встречи и место встречи мы определили знанием ветра, знанием моря, знанием берегов, а не гаданьем и не колдовством...”

На рассвете следующего дня лоды Анкудинова и Узкого оставили Повоземельский берег и добрым порядком пришли домой, в Архангельск.





Новая Земля



Вску мне — „сто лет в субботу“. Песнями да баснями, гудками* да волынками, присказками-сказками, радостью-весельем от старости отманываюсь и людей от смерти-тоски отымаю.

Архангельска страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо Студеное море — седой океан. И поморы, идучи на дальние промыслы, брали с собой на корабль песню и сказку.

Таковым-то побытом в молодые, давние годы подрядился я в двинскую артель идти на Новую Землю бить зверя и сказывать сказку в мрачные дни.

Из-за нас, мастеров-посказателей, артельные старосты плахами березовыми билась, дрались, боем отбивали, отымом отымали нас друг у друга.

Дула праматерь морская — пособная поветерь. Наша лодья от Двины до Новой Земли добежала в пятеры сутки. Зверя в тот год выстала несосветимая сила. Целое лето били тюленя, моржа, стреляли оленя. Такой задор одолел — гусли мои паутинной заткало, без них весело!

Осень пошла. Старики говорят: „Время обратно. На добычу задоримся, да кабы беды не дожидаться!“

Здесь у ветров обычан. Весной заведется ветер с юга — полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полночи, в задвенной* стране. А осенью приходит день и час — полуденный ветер умолкнет. Волю возьмет ветер-полуночник. Погонит льдину обратно к Новой Земле. Смены летнего ветра на зимний не жди!

Вот этак с вечера спать завалимся: „Ребята, завтра домой непременно“. А утро настанет — ветер вчерашний. Опять тебя так и подмывает: „Колі зверя-то, стреляй! Вей золото в клубок. Жёнок, невест с экой добычи в шелк и в бархат оденем!“

До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода.

Тогда артель раскололась надвое. Одиннадцать зашли на лодью. Мы, одиннадцать, толкуем свое: „Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать, новый груз припасать. Сей год зима не торопится“.

Староста нас и клял, и ругал. В последнюю минуту с нами остался:

— Я клятву давал вас, дураков, охранять! Слово дадено — как пуля стрелена. Твори, бог, волю свою. Вы с меня волю сняли.

Те убежали, мы опять промышляем, барыши считаем.

Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судну быть. Тайно-то, про себя-то, тревожиться стали. На здвигенье* птица улетела. Лебеди, гуси, гагары — все потерялось. Полетели белые мухи; будто саван белый спустился. Тихо припало... Заболели сердца-ти у нас. Защемило туже да туже.

Как-то спросил я:

— Староста, почто ты с людьми книги снес — Четьминеи*, зимние месяцы?

Он бороду погладил.

— Вдруг да кому, баюнок*, на Новой Земле зимовать доведется... Они нам за книги спасибо скажут.

— Староста, даль небесная над морем побелела. Это от снегов?

— Нет, дитя, от льдины... — И ласково так и печально поглядел мне в глаза. — А ты ладь, ладь гусли-ти. Ежели не на корабле, дак на песне твоей поедем.

Почевали мы в избушке за горой. В пятую неделю ожидания на заре пошел я к морю глядеть корабля. Иду и чувствую, что холодно, что ветер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щеку подставил, а ветер-то норд-ост, полуночник... Поги будто подрезал кто-то, пригел даже. Однако усилился, вылез на глядень*. И море увидел: белое такое... Лед, сколько глазом достать, — все лед. Льдины — что гробы белые. И лезут они на берег, и

стонут, и гремят. Жмет их полуночник-от... Воротился, сказываю. Только ахнули: месяц ждавши, с тоски порвались, а каково будет девять месяцев ждать!

Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали. Староста говорит:

- Не тужи, ребята! Ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давайте избу на зиму налаживать.

Собрали по берегам остатки разбитых кораблей. Избу заштопали-зашили. Тут и снегом нас завалило до трубы. Сутки отгребались.

Стало тепло, а темно. И на дворе день потерялся: ночь накрыла землю и море. И в полдень и в полночь горят звездные силы, как панникадила.

Староста научил по созвездьям время читать, часы узнавать. В избе на мѣтлице * календарь на год нарезали: кресты, кружки, рубежи — праздники, будни, посты. За-место свечи жирник горел денно-нощно...

Тут повадились гости незванные — белые медведи: рыбный, мясной запас проверять. В сени зашли, в дверь колотили; когтищами, будто ножами, свои плешьмена по стенам навели. Мы десять медведей убили; семь-то матёрых. Перестали гостить. Они, еретики, нуще всего свистом своим донимали. В когти свистят столь пронзительно, ажно мы за сердце хватались.

Тут и восток-ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По две недели мы за порог не ступали — как мыши в подполье, сидели. Счет дням по жирнику вели: приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне: „Нуще всего,

чтобы люди в скуку не упали. Всякими манамн ихние мысли уводи“.

С утра мужики шить сядут, приказывают мне:

— Пост теперь, книгу читай. Да чтобы страх был!

Слушают, вздыхают... А оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северное сияние. С запада оли* до востока будто река вся жемчужная, изумрудная свернется да развернется; то как бы руки золотые по небу пойдут, перебирают серебряны струны...

Вечером ребята песню запросят. Староста строго:

— В песнях всё смехи да хн-хн. Заводи, баюнок, лучше старину.

Сказываю Соловья Будимировича:

Из-за моря, моря студеного,
Выплывают корабли Будимировы.
Тридцать кораблей без единого,
Нос-корма по-звериному,
Бока взведены по-туриному.
А и вместо глаз было вставлено
По камению было по яхонту,
Вместо бровей было прибито
По черному соболу сибирскому...

В пост на былинну-старину разрешено, а уж как завыговаривает старинка про любовь да как зачнут мужики сгогатывать, так староста только головой вертит да руками машет:

— Шу, разлилась масленица, затопила великий пост!

Про Лира-короля слушать любили. По книжке у меня, было выучено.

— Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче.

Был у меня в артели друг, подпеватель, Тимоша. Перед святками он замолчал.

Староста мне наказывает:

— Не давай ему задумываться!

Я заплакал:

— Тимоша моложе всех, что ему печалиться!

— То и горе. Стар человек, многоопытен — беды по сортам разбирает: это, мол, беда, это полбеда. А молодому уму несродно ни терпеть, ни ждать.

Я Тимошу отчаянно любил, жалел:

— Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок*.

На деревянную чашу натянули жилы оленьи, гриф из вереска — вот и гудок с погудальцем*.

Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки-свирели.

— Староста, нам до праздника надо сыгровку делать.

— Играть нельзя, а сыгровку можно.

„Во святых-то вечерах виноградинки стучат: виноградине красно-зеленое!“

В праздник всякий вечер ударим в гусли; запоет гудок девическим голосом, завизжат рожки. Учинится топот-хлопот, скаканье-плясанье. Зажиг от старосты пойдет: зачнет пудовыми саженицами в половицы бухать, перетами щелкать, закружится...

У нас песни поют,
У нас гудки гудут.
Золотая труба трубит,
Переладец * разговаривает...

За старостой стар и млад, ажно ветер по избе.
И Тимоша с нами. Только, я заметил, глаза у него блестящие и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег.

Я обниму его, реву над ним:

— Тимошенька, не спи! Во снах тебя смерть схватит...

Он рассмежится:

— Ты не отдавай меня смерти-то.

Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти...

За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января восемнадцатого, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить... Положили его на глядень, откуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали:

Спит Тимоша-горожанин,
Ждет трубы архангеловы.

На Афанасьев-от день первый свет показался над Новой Землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Акеннюю-полузимницу *

солнышко-батюшко как бы с красным фонариком прошло по горам.

В Сретеньев день* солнышка мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в оханку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному:

— Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем!

Да в землю ему, да в землю ему, солнцу-то красному.

Друг друга разглядываем:

— Ты, баюнок, обородател! А ты поседател!

— А это кто, негрянин черной?

— Ничего, промоюсь — краше вас буду!

И благовещенье, и пасеху славить к морю выходили. В медные котлы звонили. Проталинки ребячьими глазками в небо заглядели. Мох закудрявился. На радоницу в тысячу звонков-колокольчиков Новая Земля зазвене-ла — с гор ручьи побежали. На Егорьев день* гуся два, чайки две, гагары две прилетели, посидели, поглядели, поговорили — опять улетели. Передовые это были. На вешнего Николу* слышим сквозь сон: стон стоит на дворе. Выбежали — птица прилетела! И лебеди, и гуси, и гагары, и... все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Любо! Весело!

На тропцу в ночь будто орган заиграл, во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменялись. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина

морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого.

По горам шиповник зацвел. Березка, вся-то она ростом в аршин, пригнулась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленька, и пчелка бунчит...

Мы, где эго место увидим, падем на колени, руками охапим:

— Мать-земля благоцветущая! Мать сыра земля!

День тогда беззакатный стоит над Новой Землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные-те ночи и сон и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть...

Раз этак задремали о полдне. Вдруг староста кричит:

— Парус! Парус! Парус!

Подняло нас. Правда, парус! Да не один. Вон два кораблика, вон три соколика... Наши это! С Двины за нами идут...

Тут опять слезы. Только — ах! — сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.





Матвеева радость



а новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес.

Матвей Иванов Корельской сказывал:

— Родился я в Корельском посаде, на морском бережку. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщицать в людях. Года за два до смерти робить не замогла, по́ миру пошла и меня с собой повела.

Шести лет начал я скитаться по чужим дворам один-одинешенек. Лохмотья с плеч валяются, колени в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться...

В такой маяте, в такой позорё и вырос. О празднике молодежь на улицу пойдёт петь, гулять, играть, а я в лес побегу, чтобы моих трепков да грязи не увидели.

Весь я пристыдился. Так уж и привык, что мое счастье — дождь да ненастье.

Двенадцати годов ушел я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.

Три лета в зуйках ходил. Ушел на Мурман боем и наг, в три навигацки стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.

И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.

У меня такой ум-от обозначился — нать* свое нажить.

Сверетные ребята наряжаются, а я убогой лонарской малицы не сменяю. Конейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорной стал; давно ли с сумой бегал, а теперь задумал карбас, свою промысловую посудину, стронть.

Нам, поморам, море — поилец, кормилец. По море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смакла я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мое мне не спилось: вижу, будто промысляю на нем и рыбы — выше бортов.

Год за годом, двенадцать лет, медными конейками собирал Матюшка Корелянин, сколько пужно на карбас.

До тонкости у меня было все сосчитано, что возмут за доски, за гвозди, за снасти, за работу. Пасчет матерьяла с лонью* договорился, мастера в Коле нашел.

Люди строят к весне, а я, как деньжонки собралась, осенью построишься. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как именинницу сряжали. Я на работу как в гости ходил.

Время было к снегу, а молодой „хозяин“ новым-то суденком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бойся пуще осенью, а молодецкое сердце зарывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да нешком по водам бежал...

Погрузилась. Поплыли океан-морем. Не доходя Танатубы, пала несоветима погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не носели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое носели за киль ухватиться, двоих отхватило прочь.

Сутки океан-батюшка нашим карбасом играл, как мячиком. Напгрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а суденышко мое погибло. Я ноги и живот ознобил, идти не смог, послал товарищей объявить жителям, а сам еще двоим сутки на этой горе волосы драл да рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопывал, недоседал?! Прости, моя свобода...

Добры люди доставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползими день и ночь трясло, кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с моло-

денькой дочкой жалели меня, водились, как с родным.. У них в избе я зиму огоревал.

Тут весна подошла. Лед из губы вынесло, дни заблестели.

Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли-де, мужик, бока править будешь?

Меня ровно кто на ноги поставил.

Вылез я на улицу, забрался на глядень и охнул: волны морские играют, шумят; стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку... А свету! А солнца! А ветру!

И Матюшка Корелянин от болезни, как от сна, пробудился. Топнул ногой о камень да кричу:

— Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!

Так я выздоровел. Опять, значит, работу, как бешеный, хватаю.

Часов шестнадцать подряд отработаю, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своем суденышке плыву и паруса, что снег, и я вольной промышленник, — дак и окутки в сторону, и постели прочь... И ночь не сплю, работу ворочаю.

Люди надо мной посмеиваются. „Пока, — говорят, — Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест“.

Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала

учинялась? Своего суденка нет — в лодке за море не поедешь. А у богача судно — да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англии, у него все возможности...

Поморская земля нехлебородима; зима нас прижмет, вот и явемся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр, он даст в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отработывали.

Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошам. В одну навигацию зимнего долга не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается петь:

Осудари наши,
Воля ваша!
Хоть дрова на нас возите,
Лишь не помногу кладите!

И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него, ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситцу купить нигде.

Теперь понимаете, как трудно копейку-то откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-то волюшка.

У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят, да лежат, да перевертываются, а я не могу тихо работать.

Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой конейкой трясусь, меня и не любят. Продом зовут.

...Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.

Тут я чуть было маленько с коньки не сбился.

Что такое, думаю: мне тридцать пять лет, а я не наряжался, не гуливал... Купил в Норвеге брюки клеш, синюю матроску с большим воротником, полотняную машинку, платок шейный шелковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.

И... тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.

Женился и не пугался: „О, зачем за себя баржу привязал? Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности“.

А пожил с Матреной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.

Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет, придет, ткёт, косит. грибы, ягоды носит. Матреша моя и мужескую работу могла. Тес тесала, езы* била, кирпичи работала...

Ребятишки родились — труднее стало. А Матреша,

хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет...

В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли.

В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория*, промышленное оборудование, три шкуны, одна — что твой фрегат.

В море ли, на берегу ли работаю — все нет-нет да погляжу на чужие кораблики, как они плывут, брызги на стороны раскидывают. Погляжу да подумаю: „Ничего! Проведу и я свою борозду“.

Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.

Семья в Корелах, я на Мурмане; что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.

Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал.

По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.

Хозяин мой, Василий Зубов, в нас, в рабочих, не входил. Платит грошами, в зиму пропащей рыбой кормит — и ладно, думает, дорожно им.

Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел,

что Корельской на него встает, заподаматривал на меня не мило.

Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:

— Эй, любезный! Люди смеются, да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?

— Про людей не слыхал, — говорю, — может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю.

Он зубы оскалил:

— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по моему, спустить бы тебе на воду нищу коробку, с которой по миру бегал, а заместо паруса маткина нища сума. Экой бы корабль по тебе!

Это он меня да мать мою нищетою ткнул...

Сердце у меня остановилось.

— Ты! Ты, который нас по миру с сумой пускаешь, ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди, уместесь вы, пауки, своею же кровью!..

Кругом народ, стоят молчат.

Уж не помню, чего я еще налягал языком; что было на сердце, все вызволил. Хлопнул шапку о землю, побрел прочь.

Иду — шатаюсь, как пьяный. Сердце себе развередил.

Тут испугался: пожалуй, заарестуют меня. Урядник все слышал, он Зубову слуга... И до того мне Матрешку да ребят увидать захотелось!.. А мимо пристани гальот знакомого человека и плывет, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.

Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки.

Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.

Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тятать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул...

Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул:

— Корельской, ты что, чужак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать?

— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два...

Он воровски огляделся:

— Пу-ко, зайдн в сени.

В сенях и шепчет:

— Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую весну?

Я и глаза выпучил, а он:

— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.

Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю — как мед пью.

А Васька поет:

— Знакомый норвежский куфман* запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тыщонки — новень-

кий пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик тысяч на восемь... Понимаешь, Матюша, — Васька-то говорит, — мы норвецкий пароходик и сбавим им за восемь тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то по три тыщонки на брата...

Я глазами хлопаю:

— Это кого же вы в братья-то принимаете?

— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тыщонку ты положишь.

Я заплакал:

— Не искушай ты меня, Василий Онаньевич! Всего у меня капиталу семьсот семьдесят четыре рубля шестьдесят одна копейка.

— Давай семьсот семьдесят четыре рубля. Прибыль все одно пополам.

Я воплю:

— Дай до утра подумать!

Почью с Матреной я лнку:

— Три тысячи барыша... Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: „Заходи, — говорит, — Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу...“ Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!

Жена говорит:

— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.

Утром сказываю свое решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазища опустил, потом захохотал:

— Правильно, Корельской! Ты у меня делец!

Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долго там что-то вдвоем гоношили.

Потом меня вызывают. Чиновник бумагу сует.

А я неграмотный вовсе. Только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитать, что в бумаге написано, а я где дак боек, а тут как ворона лесна.

Накаракулил подпись, может, задом наперед, — и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и еще наказывает мне:

— Ты смотри, до времени языком не болтай и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полегошеньку.

Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома поживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.

Началась навигация. Лето. Жена с ребяташками рыбешку добывает, а Матвей Корельской от компаньона телеграммы ждет.

Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграммы жду. И на Мурман это лето не пошел.

Весь раснался что-то, весь поблек.

Жена уговаривает:

— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках, задержки. Может, Зубов и денег еще не получил.

А у меня сердце болит, в трубочку свивается.

Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал.

В паузну* сам полетел.

Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. Может, думаю, семейные мешают? Шепчу:

— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету...

А он на всю избу:

— Что? Какие у нас с тобой секреты?

— А дельце наше, Василий Онаньевич?

— У Василия Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!

— А пароход-то!

— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.

— Да ведь деньги-то у меня брали...

— Что? Я у тебя, у голика, деньги? Ха-ха-ха!

Я держусь обеими руками за стол, все еще думаю — он шутит.

— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забрали?

— Какую бумагу?

— Зимой делали.

— Мало ли я зимой бумаг сделал! Песни ее и приведи писаря.

Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся.

Зубов рывкнул:

— Читай Корельскому его бумагу!

Писарь читает:

— „Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договорную плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.

М. Корельской“.

Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом выюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и все, все прахом взялось!

Всё отнял Зубов, оставил с корзиной...

Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатные деньжонки, напился пьян, сделался как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам. Меня связали, бросили в холодную...

После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся.

— Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?

Мужики ответили:

— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать. По делам твоим тебе давно бы камень на шею, безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку!

Спасибо народу, заступились за меня, не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова лихорадства*, только... радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.

Да я бы так не убивался, кабы одинокий был. Горевал из-за ребят, из-за жены.

С воплем ей говорю:

— Ох, Матреша! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!

Она рядом сидит, мою-то руку себе на голову тянет:

— Матюша, полно-ко, голубеюшко! Мы не одни, деревня-та как за нас восстала... Это дороже денег! Гляди, мужики с веслами да с парусами несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ко промышляй!

Однако я в море не пошел, поступил в Сороку на лесопилку.

Мужики ругают меня:

— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова...

Все хозяева с зубами.

Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько уж в сонном видении по широкому раздолыцу поплаваю... Сердце все как тронута. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.

Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблем батраку Матюшке не владеть, — откладываю ребятам на первой подъём, чтобы не с нищей корзиной

жизненный путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь, не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.

После Зубовой беды еще пятнадцать лет я не отдыхал ни в праздник ни в будни, ни зимой ни летом. Было роблено... Сердита кобыла на воз, а прет его и под гору, и в гору.

В одном себя похваляю: грамоте выучился за это время, читать и писать.

Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не сможет, сунется на пол:

— Ребята, походите у меня по спине-то...

Младший Ванюша у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие бояться:

— Мама, мы тебя сломаем.

Тяжелую работу работаем, дак позвонки-ти с места сходят. Надо их пригнетать.

Матрена смолода плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:

— Матрешиншко, ты умри лучше!

— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду...

Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!..

Что же дальше? Дальше германская война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводнишке держуюсь; только и свету, что книжку посмотрю.

А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительное собрание срядился.

Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасное утро бреду с завода, а в Соробе переполох. Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под север, кто под юг... Что стряслось?

— Бела власть за море угребла. Красна Армия весь Северный край заняла.

Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: „Судно зубовско где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины, как тигра, выскочит...“

С женкой поздороваться не дали, поволокли на собрание. Собрание народа в Васькиных палатах идет вторы сутки.

Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:

— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!

Над столом красны флаги и письмена, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и мое место. Васька бы меня теперь поглядел...

Шепчу соседу:

— Зубов где?

А председатель на меня смотрит:

— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?

Я встал во весь рост:

— Васильи Онаньевич Зубов где-ка?

Народ и грянул:

— О-хо-хо-хо! Кто о чем, а наш Матюша о Зубове сохнет! О-хо-хо-хо!

Председатель в колокольчик созвонил:

— Увы, товарищ Корельской! Оставил нас твой желанный Василий Онаньевич, усвистал за границу без воротинки.

— А судно-то егово? Это не шутка, трехмачтово океанско судно!

— Станный вопрос, товарищ Корельской. Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении...

— Я?... В моем?..

— Да. Вчера общее собрание Корельского посада единогласно постановило просить вас принять председательство во вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.

Я заплакал, заплакал с причетью:

— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал, до погосту мое плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех нарусах подошла: „Полетим, — говорит, — по широкому морскому раздолыцу!“ Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельской, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно, неутомимо...

И чем больше реву, тем пуще народ в долони плещут да вопиют:

— Просим, Матвей Иванович! Просим!

Ну, и я на кого ни взгляну, слезы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:

— Ты, Матвей, боле всех беды подъял, боле всех и чести примай!

...Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушел. Сам с ребятами лес рубил для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше суденышко всякими колерами. До кильватера — сурник, как огонь, борта — под свинцовыми белками, кромки — красным ваном, палубу мумней крыл по-норвежки, каюты — голубы с белыми карнизами.

Обновленный корабль наименовали мы „Радостью“. На носу, у форштевня, имя это навели золотыми литерами: „Радость“. И на корме надписали: „Радость. Порт Корела“.

За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации объявили и нашу „Радость“ на воду спускать. Народушку скопилось со всего Поморья. Для народного множества торжество на берегу открылось.

Слушавши приветственные речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровления моего после морской гибели... Сегодня, как тогда, чайка кричит и лебеди с юга летят, как в серебряны трубы трубят, и сияющие облака над морем проливаются. Все как тридцать пять годов назад, только Матюшка Корелянин уж

не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за председательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а, слово взявши, полным голосом всенародно говорю:

— Товарищи! Бывала у меня на веку любимая по-словка: „Ничего, доведется и мне, голяку, свою песенку спеть“. Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: „Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоешь?“

Я отвечал вам: „Струны готовы, недалеко и до песни“.

И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят...

Двенадцати годов я начал за большого работать. В двадцать пять годов ударила меня морская гибель. Сорок пять лет мне было, когда меня Зубов в яму пихнул. Шестьдесят лет мне стукнуло, когда честная революция надунула на руса кунецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждый болт — наш батрацкий год. Каждая снасточка нашим потом трудовым проемолена. Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся наши дети у высоких порогов, как отцы тряслись; не надо им, как собачкам, хозяевам в рот глядеть.

Уж очень это любо!

Мое сказанье к концу приходит. Ныне восьмой десяток как на свете живу. Да годы что: семьдесят — не

велики еще годы. Десять лет на „Радости“ капитаном хожу.

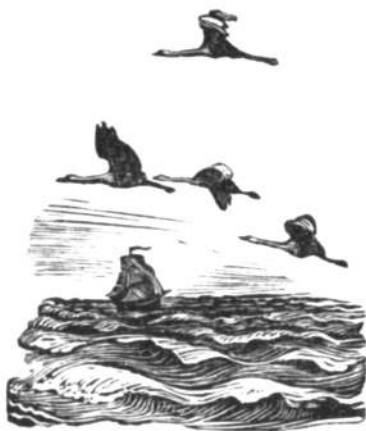
Как посмотрю на „Радость“, будто я новый сделаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старее был.

Оногда земляная старуха, пустыньска начетчица, говорит мне:

— Дикой ты, старик, — все не твое, а радунесе!

А я ей:

— Дика́ ты, старуха, — оттого и радуюсь, что все мое!





В отношении морском



ро нашу жизнь промысловую послушаешь, так удивишься, удивишься и устроишься. Расскажу про себя, про сынишку моего и про брата, как мы на промысел пошли и в какую беду попали¹.

Беды терпеть да погибнуть помору не диво. Море — измена лютая. Спроси того-другого робенка в Поморье: „Где тата?“ Скажет: „Вода взяла“.

¹ В основу рассказа положен действительный случай спасения унесенных на льдине зверопромышленников героем „Челюскина“ капитаном В. И. Воронинным, который командовал тогда ледоколом „Седов“.

Море нас поит, кормит, море и погребает... А мы вот от морекой напасти спаслись, и таким ли дивом спаслись, так всю жизнь на другую сторону повернуло.

Мы — Белого моря, зимнего берега народ. Коренные зверобон-промышленники, тюленью породу бьем. В тридцатом году от государства предложили промышленять коллективами. Предоставят-де и ледокольный пароход, и с самолетом.

Условия народу были подходящи. Зашли кто в артель, а кто на ледокол.

А я да брат старший Егор Иванович не то что на ледокол, а из своей артели убежали.

Сыннико мой Александр в колхоз бы любил, да отчнику с дядей перечесть не посмел.

Стретьева дия дождалсь: стали флюгера полуночник-ветер сказывать, норд-ост. Зачали наши деревни на промысел снаряжаться. Тюленьи женки в эту пору детей народят, стада звериные на отдых повалятся, и это богатство полуночник к нашему берегу на льдинах притянет.

Мы, значит, втроем срядились. Лодочку доспели на кренях*, погрузили дровец, хлеба, котелок, инки, обулись, оделись по-промысловому, с племенем простились и поволоклись.

Сутки берегом шли, други сутки — принаем береговым. На льду и огонек разведем, поедим и выспимся, лодочкой накрывшись. Путь вороны казали: на зверя же летели. На третий день береговой лед кончился, пошла раздельная льдина. Беда беду родит — встречу полу-

нощнику из-за горы побережник-ветер выскочил. Зачали друг другу в лицо мокрым снегом плевать.

Опасен в эту пору побережник, он лед от берега отдирает, нашего брата в море уносит...

Остановились, глядим на своего юровщика *:

— Егор Иванович, что велишь?

Он шанку снял, ветер пытается, то ту, то другую щеку подставит. А ветер явно с горы, в спину. И Егор командует:

— Заворачивай обратно! Сей день напромыслились.

А Олексеншко забежал на торос на высокой и вопит:

— Дядя! Татка! Юрово! О, коль велико!

Мы охотники природны. Петухом сердца-ти запели. Выстали на льдину, а в полуверсте зверя-то — как дров! И любо на них глядеть: посередине матки лежат с робятами. Как бабы в бане, глядят их, моют, плавать учат. Ежели ребенок капризит, мамка его и круто на море роет. Кругом, как стена нерушима, ограда крепка самцы-лысуны...

— Егор Иванович, что велишь?

— Играть давайте!

Значит, надо нам зверины ухватки принять, зверем притвориться. Он нас видит, пуцай на своих думает.

Лезем на юрово, по душу его морскую, рукавицами гребем, задом подхватываем, головами покачиваем — как есть тюлени! Спину ломит, колени отнали, а любо это и весело!...

Вот мы приехали. Души́на от них! Глядят, говорят

меж собой, что-де ихнего полку прибыло... Тут мы
прянули на зверя, как волки. Пика свистнула, да кровь
пробрызнула. Песню поморским обычаем запели:

Сила земна,
Сила водяна,
Земна толщина,
Морека глубина!
Зверь идет,
Зверя ведет!
Четыре ветра,
Четыре вихря.
Ходит сила
Из жили в жилу.
Зверь идет,
Зверя ведет!
День с ночью,
Медь с кровью.
Стрела калёна,
Тетива шелкова.
Зверь идет,
Зверя ведет!

Тюлень упал, и другой — твой, и третий опрокинулся.
Любо это и весело. Зверь ревет, мы поем, охота нами
овладела. Знай железо блестит, кровь свистит, да туши
ложатся...

И тут как пологом побонище завесило, снег стеной
повалил.

Опомнись:

— Егор Иванович, что велишь?

А ветер-от с горы да с горы. Не знаем, когда он

полуночника одолел. И льдина под ногами завизжала, не любит тоже в море идти.

Егор кричит:

— Кидай все, попадай к горе на пиках!

Не бежим — летим. И чуем — не стоит лед-от, гонит его разбойный ветер. Полыню перемахнули, другу перескочили — и аминь... Поперек разводье легло велико, широко, как река. Вода чернил чернее, а мы бумаги белее. Где стояли, тут и пали. Конец нам...

И мой Александр затрясся и меня с дядей — черной бранью... Последнее слово кинул:

— Пошто с народом не пошли? От людей бы нас унесло — телеграмм бы наподавали на ледокот, по маякам!

Егору нельзя духом падать, он юровщик.

— Еще не ревите, еще не конец! Буде во своем море останемся, всяко нас к тому ли, к другому берегу прикачает.

До вечера ни единым словом меж себя не перещелкнули.

Ночь передремали, утром по окольным льдинкам с полдесятка зверя нашли убитого, тюленны пожевали: душная она, рвало нас. Заместо воды — снег. А тюленьи тушки — и постель и окутка.

На другой день показало Летние горы.

Лодкой достали бы берега, а лодка ведь на берегу осталась.

На третий день мы наревелись — желанненьки Зимние горы в глазах были. Чались мы за лед, всяко к берегу прибрахтывались. Да где тут...

Потом трои сутки — лед, да небо, да вода. Лед, да небо, да вода... Всего семь дней, семь ночей в Белом море кружило.

Дале туманами шли сутки, не знали где. А ночь привелась звездная, по звездам прочитали, что шестые льда — на полночь, в океан. Опять Олексинко воет, опять на меня тоска, опять Егор утешает:

— Еще не тужите, еще не конец, еще не смерть! На свету Горлом * пойдём, должны нас с маяков опримерить.

Утро серое взялось со снегом. Влево Лопский берег чернел. Мы до сумерек кричали. На пику рубаху повесили, махали. Никто не слышал, никто не увидел. Только нерпы в воду булькают. Брат лысуна заколот, в распоротом брюхе ноги грели.

Мы с братом каждый про себя знали, что чем скорей замерзнуть, тем бы краше, но ради парнишки показывали вид надежды.

В Горловине заторами неволило нас пять ден. А лед мелок, не несет человека. Беда беду родит: ноги натекли, у рук персты опухли, с тюленины душу воротит, знобит, — все бы спал. Докучаю брату:

— Это конец. Цинга пришла, черная смерть...

Он как стукнет меня по шее:

— Это простуда! Еще не смерть, еще не конец!

На двенадцаты сутки бедствия вынесло нас в Ледовитый океан. А нам все одно — только бы крепче заснуть. И уснули бы вечным сном, да двинуло торосом становым. Наша льдина лопнула. Тут разбудились, прыгнули на ноги.

— Егор Иванович, что велишь?

Он огляделся: во все стороны развеличился океан-батюшко...

Снял наш кормщик шапку и выговорил:

— Брат, племянник! Смерточка пришла!..

Подает из сумки сверток мне, парню, себе:

— Хранил для торжественного дня. Сей день приходит.

Развертываем. У каждого рубаха смертная долгая, саван с куколем, венец на голову, лестовка полотняная.

Я заплакал, кланяясь:

— Благодарствую, братец Егор Иванович, что подумал да позаботился, срядил нас в жизнь бесконечную.

А Олександр недоумевает:

— Дядя, разве ты знал, что мы помрем?

Брат говорит:

— Дитя, вековой это поморской обычай — смертную одежду в море брать.

Умылись мы, волосы, бороды расчесали, обрядились в рубахи, в саваны, в венцы. Поклонились под южной ветер в родиму сторонушку, с желанными простились...

Великим падежом нал Олексинко да запричитал:

— Мила моя мамушка, знаешь ли, что сына во гроб наладили? Желанна невеста Катенька, осталась у нас с тобой игра не донграна! Дорогой друг Герман Олегович, песенка наша не донета!..

Обычай родительский — детищу своему жизни, здоровья хотеть, а я тогда сыну одинакому* смерточки скорой молил. Стали мы друг другу в очи глядеть.

на последнее прощание. Нагляделись, тогда — обычаем мертвых — глухо закутали себе лица саванным наголовьем. Легли. И учало нас затягивать в смертные сны.

Часы прошли или минуты, услышал я звон явно, близко. Говорю:

— Брат, слышишь звон?

Он как со сна:

— Это тебе к смерти, брат. Помирай дале.

Дале я забылся... да вдруг в самые уши гремит, гудит!.. Дрогнул я, сдернул кукуль, а над головами-то... аероплан!!! Не блазнит* ли? Не привиденье ли? Нет, кружит, трещит... Схватил я пинку, машусь да реву:

— Пособите! Пособите!

И парнишко мой:

— Батюшки миленькие, пособите!

А оно скружило над нами два накона и потерялось... О, горе взяло! Лучше бы не казался, надеждой не манил. Эту ночь наборолся я с Олександрушком моим.

Кричит:

— Дядя или тата, заколите меня пикой!

Тониться лез. И бил я его, и обнимал, и опять бил, и плакал над ним.

А о полдень, как рог серебряный, запел над нами аероплан.

Мы скакать, мы реветь:

— Помогите!.. Пособите!..

Что же далее?... Кружит машина ниже да ниже, да надлетела над нами и выронила посылку.

Мы опять:

— Товарищи! Возьмите нас!

Они не слышат. Улетели птичкой.

Посылка в воду пала, ниной добыли. Там консервов две коробки, в каждой фунта по три, сухарей был пять, мазь какая-то, морошки банка. Вот сколь люди внимательны, — морошечки послали! И письмо! Письмо сто раз на дню читали:

„Товарищи! Мы вчера оприметили вас и опять прилетели с ледокола, который подвигается теперь в вашу сторону. На аэроплан принять вас не можем для того что льдина мала для разгону. Но мы вас не оставим“.

Ну, ожили мы, воскресли. Шабаш помирать-то. Хлебу рады, письму рады. Холоду опять оберегаемся, больших торосов хранимся, орудуем никами сидя да лежа. Ногами уж так себе владели. Однако ждать да погонять — нет того хуже: разведем плывем — бонмее, что от парохода утеряемся: в затор попадем — тужим, что пароходу не пробиться.

Однажды как бы стрельбу слышали, еще машинку чули. С той поры без отдыха блазило: то дымом пахнет, то мотор стучит. Без дня неделю этак... Извелись!

В последнюю ночь сменной ветер пал. Торос на торос лезет, визгу, грому... Тут и свисток донесло, и дымом запахло. И метелица нас заносит. Остатню силушку собираем, чтобы не угаснуть.

Но как обутрело, тишина стала в мире, и мы головы подняли из-под снега. Пароход стоит саженьях во ста...

Обезумели от радости. Кричим, как на лошадь:

— Тиру! Тиру!

Да ползунком по льдинам-то. И с парохода нас увидали, свисток дали, тран спустили.

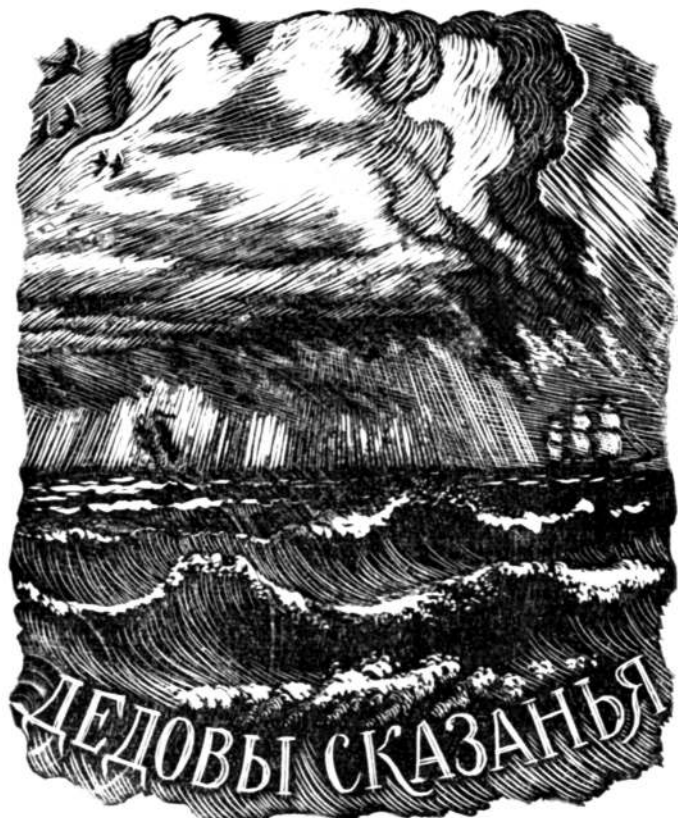
Пароходские нас под руки принять хотят, а мы „ура“ кричим и им в ноги падаем.

По трану сами взяться не могли, нас носком занесли. Тут разделли, тут в тепло положили, рому поднесли норвецкого. Сам капитан Владимир Иванович Воронин обихаживал за доктора. Он воспитывал нас и беспокоился нами, как отец родной.

Дён через десяток я с сынишком помогали, чем могли, на пароходе. Брат Егор до весны в Мурманской больнице немог. На другой год мы втроем на этот ледекол в коллектив зашли.

Всего погибали мы в отnose морском восемнадцать дён. Семь дён в Белом море, пять дён в Горловине, шесть дён в океане.







Любовь сильнее смерти



Студеного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата названных, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заедная.

Столь крепко братья названные друг друга любили — секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать Сыру землю и Синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлеба кушали, одну думу думали, один совет советали, — очи в очи, уста в уста.

Отцы их по любви морскою лодьею владели и детям то же заповедали. Кирик, старший, стал покрут* обря-

жать, на промысел ходить, а Олеша прилежал корабельному строению.

Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостиницы берет. Перестали названные братья друг другу в очи глядеть.

В месяце феврале промышленники в море уходят на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: „Останется дома Олеша, его Моряшка опутает“. Он говорит брату:

— Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!

Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли... Праматерь морская — попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лед. На льдинах тюленьи полёжки. Соступились мужи-дви-няне со зверем, учали бить.

Богато зверя упромыслили. Осежевали, стали сальное шкурё в гору волочить. На море уже стемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прыгает*, знай копые звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел.

Старый кормщик и обеспокоился:

— Олеша далеко ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тороса от берега понесет...

Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: „Олешу море возьмет, девка Моряшка моя будет“. И снова крик-

нута хочет и опять молчит: окаменела сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Лыдина зашевелилась, заворотилась, уладила шествовать в море, час ее пробил.

И слышит Кирик вопль Олешин:

— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!..

Дрогнул Кирик, прибежал в стан:

— Мужик-двиняне, Олеша в относ попал!

Выбежали мужики. Просторно на море. Только взвонь рыдает... Унесла Олешу вечерняя вода.

Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах, как лодья соловецкая под парусом: росписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олешу зажалел.

Заказал Кирик бабам править по брате плачную причет*, а всё места не может прибрать.

В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морекой, пал на песок, простонал:

— Ах, Олеша, Олешенька!..

И тотчас ему с моря голос Олешин донесло:

— Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!

В тоске лютой, неутолимой прынул Кирик с вершины вниз на острые камни, сам горько взвонил:

— Мать-земля, меня упокой!

И будто кто его на ноги поставил. А земля провещилась*:

— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, Сыру землю, зарудили!*

По исходе зимы, вместе с птицами, облетела поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблем на Двину, а тулятся* за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жены и дети.

И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идет разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи:

— Не станем сидеть, как гусь в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригоже!

Старики рассудили:

— Нам наших сынов, ушкуйных* голов, не уговорить и не постановить. Пуцай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незванным гостям.

Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:

— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.

Кирик тому делу рад: сидючи на берегу, изнемог в тосках по Олеше. Жена на него зубами скрипит:

— Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали!

Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гатара, плакали женки. Дружина взойшла на корабль. У каждого лук со стрелами, коньё и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и пособная поветерь — праматерь морская скорополучно направила путь.

Не доведя до Зверинного острова, прабаба-поветерь заспорила с вюками — встречными ветерками. Зашумела

волна. А молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олеше година.

Студеное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик занел:

Гандвик-отец,
Морская пучина,
Возьми мою
Тоску и кручину!

В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодыи. И варяги кричат из тумана:

— Куры фра? Куры фра?¹

Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прынула на ноги. И тянут лук крепко, и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные конья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки веселью. Зовет, величает дружину:

— Мужи-двиняне, не пустим варягов на Русь! Побьемся! Потешим сердца!

Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кириково сердце. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик вражеские головы...

Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу...

Красное солнце идет к закату, варяжское труньё плывет к западу. Сколько двиняне празднуют о победе.

¹ Кто идет?

о богатой добыче, друга столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди, весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной:

— Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву Студеному морю.

И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы свечи, с прощальною песней на своем корабле убежала на Русь.

В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Олешин:

— Здрав буди, Кирик, брате и господице!

Ликует Кирик о смертном видении:

— Олешенька, ты ли нарушил смертны оковы? Как восстал ты от вечного сна?

Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Олешин голос:

— Я по тебя пришел. Сильнее смерти дружная любовь.

Две тяжкие слезы выронил Кирик:

— Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви...

В третий раз гуси вскричали, как трубы стремели, колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел названного брата. Глядят очи в очи, устами к устами. И голос Олешин, что весенний ручей и свирель:

— Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, в Гусиную белую землю. Там играют вечные сполохи, туда

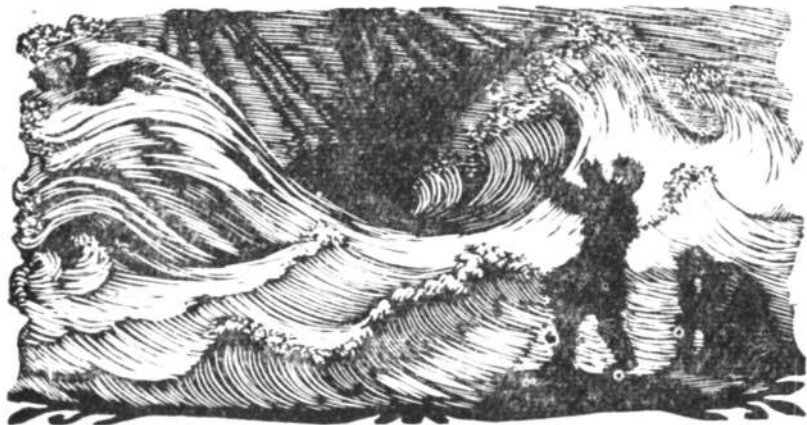
прилетают легкокрылые гуси беседовать с храбрыми. Там немолчно рокочут победные гусли, похваляя героев...

Завязалась праматерь морская — поветерь и взяла под крыло варяжский кораблик, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую...

О, былина, о, песня, веселье поморское! Проходят века, а Двинская земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика.

Смерть не все возьмет — только свое возьмет.





Гнев



двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и брата его Гореслава.

На Лихослава пал гнев Студеного моря. По той памяти место, где был „двор Лихославль“, до сих пор называется Гнёвашево.

Лихослав был старший брат, Гореслав младший. Под рукою батеньки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надежно отпускал сыновей к Новой Земле. Также неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна мать породила, да не одной участью-таланом наградила.

Гореслав скажет:

— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!
Лихослав зубы ощерит:

— Нет! В торгу любо, а в море люто.

Отец нахмурится и скажет Лихославу:

— Хотя ты голова делу, но блюдишь морскому гневу.

Но смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил* всю лодейную службу, ни в чем не стал с дружиною спрашивать:

— Я-де на ваше горланство добыл приказ!

И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.

Люди ближние и дальние говорили Гореславу:

— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание свое морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.

Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит:

— Ай, братец! Костью ты мне в горле встал.

Таким побытом братья опять пришли на Новую Землю.

Добыли и ошкуя* и песка. Ждали попутных ветров, чтобы подняться на Русь. А Гореслав с товарищем еще побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.

Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь; и мешкать нельзя: знают, что в лодье их ждут и клянут.

А старший брат видит, что в берегах непогода, и скарёдного своего веселья скрыть не может: „Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погнбелью пошел“.

И Лихослав начал взывать к дружине:

— Самн видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отиравился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюет и сморкает.

Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. По которые бывали в здешних берегах, те говорят:

— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут, надобно идти искать.

Кормщик затрубил в рог.

Лихослав освиренел:

— Ребята, у них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам!

Доброчестные дружинники говорят:

— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.

Лихослав кричит:

— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают... Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!

В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Пад землей,

над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье...

Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымаст управление и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.

Гореслав и закричал:

— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!

Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, потеряется да околест там, а он стоит как милый.

В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил*. Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Гореслав в ужасе прикрыл глаза рукою.

Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенели море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав, добрый, кроткий, стал престашен. Он грозно простер окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:

— Батюшко Океан, Студеное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!

Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унес его в бездну.

Утолился гнев Студеного моря. Лодья опрямилась, и люди онамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.

Гореслав ждал их, сидя на камне, с перевязанной

рукой. Дружинники, от мала до велика, сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:

— Господине, ты видел суд праведного Моря. Теперь суди нас.

Гореслав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:

— Господо дружина! Все суды прошли, все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.

С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их — в братстве.





Братанна



Братанна — Студеное море,
Светлое, печальное раздолье,
Солнышко в море уходит.
Вечерняя заря догорает:
Маменька помирает,
Сына и дочь благословляет:
— Ухожу к заре подвосточной,
Ухожу к звезде полуночной.
Се тебе, милому сыну,
Промысел морской оставляю,
Отецкой лодьей благословляю.
Где руки отцовы трудились,
Туда и тебе, сыну, ходити.

Сестра тебе в материно место,
Братанна в доме хозяйка.
Мир тебе, доченька родная,
Речь у тебя не людская,
Да велика кротость-терпенье.
Велико по дому раденье.
Поживите, деточки, в совете.
А кто совет ваш нарушит,
Клянупу того морем и землею!
Земля на того и море!
Услышь меня, синее море!
Поблюди моего милого сына.
Подроди* немую Братанну!

И солнышко закатилось,
Вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И днем поют попы-дьяки,
Ночью брат с сестрой плачут.
После этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море поидет — простится,
С промысла придет — доложится.
И брата Братанна хвалит,
По головушке его гладит.
Только речь у ней не постатейна.
Говоря* у Братанны непонятна.
А брата, как мать, жалеет,
День и ночь по дому радеет.

После этого быванья
Возрастные годы приходят.
Тут брат сестру не спросился,
Молодой женой оженился.
Глаза у ней с поволокой,
Роток у ней с позевотой.

Молодая жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Остуду в семье заводила,
Гарчіт *, что лихая собака:
— Ахти, безголосая рыба,
Ахти, камбала кривороты,
Оборотень деревенский,
За что тебе ключи и пояс?
Я тебя, дуры, не меньше!
Тебе надо мной не смеяться!

В зимнюю безвременную пору
Грубость Горожанка согрубила:
Лодейные паруса сгноила,
Амбарному гнусу стравила,
Подвела на немую Братанну.

И брат на сестру в кручине,
А жену от брани унимает:
— Не твое дело, жена Горожанка,
Парусы — материны статки *,
Не твои, не мои нажитки!

Лютая зима окроет,
Перед красным летечком смирится,
А людской-то злобе краю нету.
Злая жена Горожанка
В погодливо время, в распуту,
В глухую, безлюдную ночку
У Братанны ключи отвязала,
К лодейному прибежищу сходила,
Причальные цепи отомкнула.
Тут великая невзгода учинилась:
Лодью водой повернуло,
Заторными льдами зажало,
Якори рвало самосильно.
Беда на Братанну упала —
Подвела на нее Горожанка
Воровским своим поклёпом и подмётом.
И брат на сестру опалился,
Тяжко на Братанну оскорбился.
Перестал с сестрой говорить,
К столу сестры не стал звать.
Не так-то жили при матке,
За одним столом, в одном хлебе...

После этого быванья
Горожанка на Братанну, как пес, гарчит,
А Братанна, как стена, молчит.
Знай горькие слезы проливает,
Их правой ногою заступает,
Чтобы не было брату укоризны.

И в ту пору, в то время
Горожанка младеня породила,
А злобы своей не отложила.
Коль матери любви дети!
Горожанка и о том не умилилась,
Пуще на злобу устремилась.

О празднике было о вешнем,
Недельный день осветился,
С промыслу хозяин воротился.
Дома у ворот поколотился.
Брата сестра услышала,
Поскорёшеньку отворяла,
На шею желанному напала,
Птичкой воронкой кричала,
Кукушицей куковала.
И брат на сестру умилился,
Что камень от сердца откатился.

Недолга немая беседа.
Горожанка в окно усмотрела,
Пуще лютой змеи освирепела,
Что ровня она бешеной собаке:
Душегубное дело учинила:
Младеня из зыбки схватила,
Золовкиным ножом заколола,
Шибла золовке на постелю.
Выбежала к мужу космата,
В ногах закаталась безобразно:

— Увы тебе! Люто, люто!
Сестра твоя лиходейка,
Убила нашего младеня!

И отец видит страшное дело.
Затрясся, кабыть от морозу,
Пришла на него озноба люта.
Сгорстал сестру за руки,
Ей руки отсек по запястья.
Повисли ручки, как рукавички.
Этого страху мало,
Этой смерти не достало.
Своего убитого младеня
Брат сестре навязал на локти.
Выгонил сестру за ворота.

И почто с кручины смерть не придет,
С печали душу не вынет!
Боса, кровава, космата,
Без памяти Братанна ступает.
Светлого деничка не видит.
Не путем бредет, не дорогой
Черным лесом дремучим,
Белым мохом зыбучим.
Уж некуда Братанне деваться.
Ей бы заживо в землю закопаться!
Кабы мать-то земля расступилась,
Она живая бы в землю схоронилась.

И тут как свет осветило,
Как на волю двери отворило:
Развеличилось отеческое море
От запада до востока!
Тут волны, как белые кони,
Тут шум, как конское ржанье.
К камню Братанна припадает,
К морю кричит и рыдает:
— Батюшко море, кормилец.
Матка у нас помирала,
Морю нас поручала!
Батюшко синее море,
С тобою живу, помираю,
В лютый день припадаю!
Услышь меня, синее море:
Нет на земле упокою,
Некуда деться от злобы! —
В камень немая припадает,
В море младеня простирает.

Море убогую слышит,
Море убогую видит.
Страшно стало у моря:
Гром, и облак, и сумрак,
Трубные звуки, и буря!
В бурях гора затряслась,
В море Братанна урвалась.
И море Братанну подхватило,
В бездонных пучинах огрузило.

Еще речью море говорило:
— Кто с морем в любви и совете,
Кому на земле управы нету,
Тому от моря управа.
Пригожается сердце морское
Ко всякой человеческой скорби!

И в ту пору, во то время
Диво славно и ужасно:
Пала Братанна в море,
Рученьки мертвы висели, —
Пала с мертвым младенцем,
Пала нема, полумёртва,
Встала цела и здрава.
Волнами ее подхватило,
В сердце морском переновило.
С костью кость сошлася,
С жилой жила свилася.
Дивны у моря угодыя!
Руки целы и здравы.

Живой воды немая поглотила,
Запела и заговорила.
Выговаривает светло и внятно,
Поет постатейно* и красно:
— Мир тебе, синее море!
Слава морю до веку! —
А море, как лев, рыкает,
С младенцем, как мать, играет.



И ожил дитя, засмеялся,
По-ребячьи в волнах заплескался.
Вышла Братанна из моря,
Как ново на свет родилась.
Она славу морю припевает,
На руках-то младенец играет.
Слава синему морю,
Мир тебе, сердце морское!

После этого быванья
Брата сестра вспомянула:
— Птичка бы я была, воронка.
Домой бы я полетела,
На окошечке бы посидела,
Брата бы я поглядела!
Дойду я до братнева дома,
Покажусь вдовой-побирухой,
По речам меня не признати,
По рукам на меня не подумать:
Я ушла безъязыка, безрука.

По-вдовьи Братанна повязалась.
Опоясалась по-старушьи,
Младенца в пазуху склала,
Сажей лицо замарала.
Солнце пришло на запад,
Белый день на закате.
К дому Братанна подходит.
В доме песня и плясня.

Говорит Братанна кухарке:
— Здравствуешь, тетенька-голубка!
Всё ли у вас по-здорову?
Что у вас за пир, за веселье?
Статны и внятны вопросы,
Сладки и светлы разговоры,
И кухарка Братанну не узнала.
— Здравствуй и ты, сиротинка!
А пляшет и поет Горожанка,
Этому дому лиходейка.
Брата с сестрой разлучила.
Нашу хозяйшку сгубила.
Ишь, собака, скачет да смеется,
А ей золовкина слеза отольется!

Уж Братанна ей не внимает,
Она в горницу гостину доступает.
Гости сидят за столами,
За яствами, за питьями.
Горожанка перед ними дробно ходит,
Золотым перстнем прищелкнет,
Серебряным каблуком притопнет.
А хозяин выше всех посажен.
Пуще всех хозяин печален.
Без сестры у него пиру нету.
А сестра стоит, поклоны правит:
— Здравствуйте, хозяин с хозяйкой!
Горожанка Братанну не признала:
— Уваливай, нищая коробка!

Здесь не монастырь, не поминки:
Господские песни да пляски!

Отвечает странница хозяйке:

— Тут-то меня и надо!

Я песни петь разумею.

Былинами душу питаю. —

Не туча с дождем прошумела,

Хозяин в углу отозвался:

— Садись-ка, тетка, на лавку,

Сказывай старину-былину,

Разгони мою тоску-кручину! —

В горнице говоря замолчала,

Странница младеня закачала,

Запела сама, заговорила:

— Маменька помирала,

Сына да дочь благословляла:

„Живите, деточки, в совете,

Сестра, обихаживай брата,

Будь ему в матерно место.

Брателко, не обидь сестрицы.

К морю пойдешь — простися,

С моря придешь — доложися.

Клятвою вас заклинаю,

Во свидетели море призываю“.

Тут вечерняя звезда восходила,

Маткины очи затворила.

И брат с сестрой зажили советно,

Однодумно они, однолично.

А сестра говорить не умела.
А горазда на всякое дело.

После этого быванья
Брат сестры не спросился.
Молодой женой оженился.
Молода жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Что дом приказан золовке,
А молодка у ней под началом.
Стало все не в честь да не в радость,
Все не в доброе слово.
Лихорадство Горожанка учинила:
Лодейные парусы сгноила,
Подвела под немую золовку...

Горожанка сделалась в лице переменна:
— Врака, врака, врака всё!

А брат слушает, дивится, а сам на сестру не подумал, что ушла нема и увечна: эта цела и здрава, в речах сладка и успешна.

А странница сидит, как свеча горит.
Слово говорит, что рублем дарит:
— ... Да... парусы в зиму сгноила.
И этой напасти мало,
Этой беды не достало.
Молодая жена Горожанка
Мужневых трудов не пощадила.
Промысловую лодью погубила.

Подвела на немую золовку
Ябедой, поклёном и подмётом...

Горожанка опять зубы явила:

— Враки, враки, враки! Ябеду сказывает и врет!

А муж говорит:

— Не сбивай, со врак пошлени не берут.

Странница эта опять поет:

— ...Да... промыслову лодью погубила.

И этой кручины мало,

Этого горя не достало.

Коль матери любы дети!

Горожанка дитя не пожалела:

Дитя свое заколола,

Золовкино сголовье зарудила,

Душегубством золовку уличила.

И брат сестре казнь придумал:

Без суда, без сыску, без управы

Руки сестре изувечил,

Навязал на локти младеня

И выгонил сестру за ворота...

Горожанка схватила со стены ловецкое копьё да
шибла в певницу. Муж копьё перехватил на лету, бросил
в угол, а сам заплакал:

— Правда, правда! И у нас то!

И опять стала тишина, только странница поет:

— ...Да... выгони! сестру за ворота.
Побрела кровава, космата.
Шла, пришла на край моря
И к морю немая возопила.
Смерти себе запросила.
На море волны встали.
Как лист, земля затряслася
В море немая урвалася.
Как сноп, ее море носило
И в сердце морском переносило:
Была нема и увечна,
Стала цела и здрава,
Запели уста, заговорили,
Руки младеня подхватили.
В живой воде дитя заплавал,
По-ребячьи дитятко заплакал...
Дивны у моря угоды!

.
Я бабой-старухой срядилась,
К брату на праздник явилась.

Братанна платок-то сдернула да сажу стерла. Больше слов не надо.

Брат сестру узнал, тут радость неудержимая. Упал сестре в ноги, целует ей руки, уста и очи, к сердцу жмет свое детище. А Горожанка заскакала собакой да прыгнула в окно, только пыль свилась в след. Больше Горожанку здесь никто не видал. Да и кто ее рад видеть!

И после этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдет — простится,
С моря придет — доложится.
А Братанна племянника хвалит,
По головушке его гладит.
Дивны у моря угодья!
Слава сердцу морекому!





О кормишке Устьяне Бородатом

Слово кормишка



ормишк Устьян Бородатый стал на якорь в Нежилей губе. Дружина говорит:

— Не худо бы сбродить на мох, добыть оленя. Приелась соленая-то рыба.

Устьян говорит:

— Стунайте. Только не стреляйте важенку — матку с детенышем не убейте.

Вот дружинники стоят на мшистой горбовине с луками. Видят непуганых оленей стадо. Маточка оленья со своим теленком ходит ближе всех. Самолучший

стрелец тянет лук крепко и стреляет метко. прямо в эту важенку. В тот же миг крепкий лук крякнул и переломился.

Дружинник ударил этими обломками о землю и сказал:

— Не сломался бы ты, мой гибкий, тугой лук, ежели бы не переступил я слово кормщика!



Русское слово



ел Устьян Бородатый на промысел в летних судах. Встречная вода наносила лед. Тогда Устьяновы кочи притулились у берега. Довелось ждать попутную воду у Оленницы. Здесь оленный пастух бил Устьяну челом, жаловался, что матёрый медведь пугает оленей.

Устьян говорит:

— Дитятко, некогда нам твоего медведя добывать: вода не ждет. Но иди к медведю сам и скажи ему русской речью: „Русский кормщик повелевает тебе отойти в твой удел. До оленьих участков тебе дела нет“.

В тот же час большая вода сменилась на убыль, и Устьяновы кочи тронулись в путь.

А олений пастух пошел в прибрежные рѣпаки*, где полеживал белый ошкуй. Ошкуй видит человека, встал на задние лапы. Пастух, мало не дойдя, выговорил Устьяново слово:

— Русский кормщик велит тебе, зверю, отойти в твой удел. До оленьих участков тебе, зверю, дела нет.

Медведь это слово отслушал с молчаньем; повернулся и пошел к морю. Дождался попутной льдины, сел на нее и отплыл в повеленные места.



Устьян стоял при море, у Двины, ждал попутных ветров сверху. К тому же острову пристало поврежденное погодами купеческое судно. Купец повыгрузил товар и с работными людьми отправил вверх, а Устьянова дружина стала поновлять бока купеческой лодье. Трудились за спасибо и за хлеб, за соль. О деньгах разговору не было. Устьян готов был на отлет во всякий час, только бы сменился ветер. Дѣла у починки-поправки оставалось уж немного. Дружина конопатит да смолит... И ударил дождь. Устьян кричит:

— Ребята, повремените с делом! Не делайте по мокрому!

Работные скидали пеньковое прядево под лодью, а сами стали от дождя в укрытие.

Купец это увидел и прискочил к дружке с бранью:

— Вижу, только у нитя да у еды вы мастера-то, а у дела только бы стоять да спать!

Устьян говорит с гневом:

— Ты на кого разъехался, купец? Мы тебя ничем зовем и ни во что кладем: горланишь, а дела не смыслишь. Видишь, дождь валит! Судовой припас нельзя мочить: прок не будет.

Купец свое:

— Твоя дружина у меня вторые сутки по две выти* в день ньет-ест! Велю работать, будь хоть потоп!

Устьян говорит:

— Хоть потоп? Ладно, будь потоп.

Устьян твердым шагом зашел на свое судно, взял рог и заиграл грозно и жалобно. На ответ далеко в море будто шум шумел. На берег накатился взводень и смыл купецкую лодью. Купец опаматовался от ужаса и забегал на коленках вокруг Устьяновой лоды:

— Господине, убавь воды! Господине, не сгуби мое суденко!

Устьян говорит:

— Это не от нас. А судно против ветра никуда не убежит. Гляди, волна несет его обратно.

Устьянова дружина поставила купцово судно на отстой. А сами с поветерью ушли в море.



Устьян и олени



Устьян шел берегом в становище, тянул промышленную снасть и чунку* с хлебом. Увидел оленей-дикарей и кричал:

— Подойдите которые-нибудь!

Три оленя подошли. Устьян выряд их в чунку, и снасть положил, и сам сел. Куда повелел, туда побежали.

Этот Устьян смолоду был знатлив*.

Промысел оставит несоблюдно*. Медведь-ошкуй подойдет, песец — понюхают и уйдут. Устьян хоть через месяц взять придет — все цело, неврежоно.





О кормилице Маркеле Ушакове

Мастер Молчан

На Соловецкой верфи юный Маркел Ушаков был под началом у мастера Молчана.

Первое время Маркел не знал, как присвоиться к этому учителю, как его понять. Старик все делает сам. По всякую снасть идет сам. Не скажет: принеси, подай, убери.

Маркел старался уловить взгляд мастера — по взгляду человека узнают. Но у старика брови как медведи, бородища из-под глаз растет, — поди улови взгляд. Мар-

жел был живой парень, пробовал шутить. Молчан только в бороду фукнет, усы распушит.

— Морж, сущий морж, — обижался Маркел.

Однажды Маркел сунулся убрать щепу около мастера.

Тот пробурчал:

— Что, у меня своих рук нету?

Маркела горе взяло:

— Что ты, осударь, мне все грубишь? Тебе должно учить меня, крошку, а не пырскать в бороду, как козел! Тебе неуютно, что я тут, и ты скажи, когда неуютно...

— Угодно, мое дитя. Угодно, милый мой помощник.

Тяжелая рука мастера нежно гладила непокорные кудри Маркела; старик говорил:

— Не от слов, а от дел и примера моего учись нашему художеству. Наш брат думает топором. Утри слезки, „крошка“. Ты ведь художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она как перо лебединое. Погладишь — рука как по бархату катится.

Наконец-то уловил Маркел взгляд мастера: из-под навешенных бровей старика сняли утренние зори.



Кошелек



а Молчановой верфи пришвартовался к Маркелу молодой Анфим, к делу талантливый, но нравом неустойчивый. Сегодня он скажет:

— Наш остров — рай земной. И люди — ангелы. А в миру молва, мятеж, вражда...

Завтра поет другое:

— Здесь ад крошечный, и люди — бесы. А в миру веселье: свадьбы, колесницы, фараоны, всадники...

Молчан наказывал Маркелу:

— Ты поберегай этого Анфиску. Он тебе доверяется всем сердцем. И ты за него ответишь.

Маркел удивился:

— Значит, и ты, осударь, отвечаешь за меня?

— Да. Как отец за сына.

Как-то, за безветрием, стояло у Соловков заморское судно. Общительный Анфим забрался туда и всю ночь играл с корабельщиками в зернь и в кости. Днем на работе пел да веселился, вечером, наедине сказал Маркелу:

— Маркел, я деньги выиграл. Хватит убежать в Архангельск. Пойдем со мной, Маркел. В Архангельске делов найдется.

Маркел говорит:

— Значит, бросить наше дело и науку, оскорбить учителя Молчана и бежать, как воры?

Анфим твердит свое:

— Не запугивайся, друг! В кои веки выпало такое счастье. Попросимся на то же судно, где игра была, и уйдем.

При ночных часах Анфим с Маркелом пришли к судну. С берега на борт перекинута долгая доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел говорит:

— Давай, Анфимко, деньги. Я зайду на судно, разбужу капитана, заплачу за проезд и позову тебя.

Сунув за пазуху кошелек, почему-то неуверенно перекладывая ноги, Маркел шел по доске. Тут оступился, тут бухнул в воду... Это бы не беда, — Маркел через минуту выплыл, вылез на берег. Беда, что кошелек-то с деньгами утонул.

— Обездолил я тебя. Анфимушко! — тужил Маркел, выжимая рубаху.

— Я одного не понимаю, — горячился Анфим: — ты свободно ходишь по канату с берега на судно, а с трапника упал...

Простодушному Анфиму было невдомек, что Маркел в воду упал нарочно и кошелек утопил намеренно. Иначе нельзя было удержать Анфима от безумного намерения.



Ворон



одил Маркел по Лопской тундре, брал ягоду-морoshку. На руке корзина, у пояса серебряный рожок призывный. Ягоды берет и стих поет о тишине и о прекрасной Матери-Пустыне. А вместо тишины к нему бе-

жит мальчик-лопин*:

— Господине, не видал оленя голубого?

— Не видал. — говорит Маркел.

— О, беда! — заплакал мальчик. — Я пас оленье стадышко и уснул. Прохватился* — оленя голубого нет.

— Веди меня к тому месту, где ты оленей пас, — говорит Маркел.

Вот они идут по белой тундре, край морского берега. А под горою свен* у костра сидят, в котле еду варят.

— Они варят оленье мясо, — говорит Маркел.

— Нет, господине, — спорит лопин. — Я видел, у них в котле кипит рыбешка.

— Рыбешка для виду, для обману. Они кусок оленьи варят, а туша спрятана где-нибудь поблизости.

И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит в тундру. А тундра распростерлась сколько глаз хва-

таст. И вот над белой мшистой сонкой вскружился черный ворон. Покружил и опустился в мох с призывным карканьем.

— Там закопана твоя оленина, — сказал Маркел.

К белому бугру пришли, ворона сгонили, мох, как одеяло, сняли: тут оленина.

А свен из-под берега следят за лопином и Маркелом. Как увидели, что воровство сыскалось, и они котел снимают, лодку в воду спускают.

А Маркел в ту пору в рожок сыграл. Приложил к устам серебряный рожок и заиграл. Свен рог услышал, в лодку пали, гонят прочь от берега; только весла трещат — так гребут. Их корабль стоял за ближним островом. Так спешно удалились, что котел-медник на русском берегу покинули.

Этот котел Маркел присудил оленьему пастуху. Пастух не в убытке: котел-медник дороже оленя.





Корабельные вожжи

В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила внешних вод перемывает стреж — фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались „корабельными вожжами“.

Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожжи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс „Двинского знания“ оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житейство. Го-

стились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.

Но вот пришло время, дошло дело — два старинных приятеля поссорились как раз на пиву.

Вожевая братчина сварила пиво к городовому празднику шестого сентября. Кроме братчиков, в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая „река“ или „город“ знали свое место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные *, реки.

После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешал веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодые реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте.

— Прибавляйся к нам, Никита! — кричал Щеколдин из высокого стола. — Пинеге, подвинь анбар, новгородец сядет!

— Моя степень повыше, — отрезал Звягин.

— Дак полезай на крышу, садись на князево бревно! — озорно кричал Щеколдин.

Чернопахотные реки бесчинно загремели — засмеялись.

Звягин осерчал:

— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?

— Я от царственного города щеколда, а вы мужичий род, крамольники новгородские!

— Не величайся, таракан московский! — орал Звягин. — Твой дедушко был карбасник, носник. От Устюга до Колмогор всякую наброду переваживал. По копейке с плешн брал!

— А твой дедко барабанищик был! Люди зверя промышляют — Звягин в бочку барабанит: „Пособите, кто чем может! По дворам ходил, снастей просил — не подали“.

Поругались корабельные вожи, разбиделись и рассоветились. Три года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернет.

Звягин был мужик пожиточный *, Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый прираздумался и разгоревался: „Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет: кораблей приходит много, живу в достатке“.

Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели, или лично придет мореходец-иноземец, или русский:

— Сведи судно к морю.

У Звягина теперь ответ один:

— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными жогами.

Еще и так скажет:

— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная. Корабли у вас садкне. Доверьтесь опыту Щеколдина.

Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и

достатку рад. Одного понять не может: „За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброхотствует. Надобно сходить порасспросить“.

В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:

— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Педаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.

У Щеколдина точно пелена с глаз спала:

— Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал!

Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:

— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!

Звягин обнял друга и торжественно сказал:

— Велика Москва державная!





Баня Датский

(Архангельская быль)



Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибежища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — воды не видно; народу по берегам — что ягоды-морoshки по белому мху; торговок — пирожниц, бражниц, квасниц — будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу! А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглички умела любого мистера похвалить и обложить.

Горожане дивились на Аграфену:

— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слышать! Будто ты колокол соборный.

— Умрем, дак выспимся, — отвечала Аграфена. — Я тружусь, детище свое воспитываю!

Был у Аграфены одинакий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, Иванушко является с визитом, спросит: по-здорову ли шли? Его угощают солеными бишками — бисквитами, рассказывают про дальние страны.

Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцать лет приступил вплотную:

— Мама, как хошь, благослови в море идти!

Мама заревела, как медведица:

— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!

— Ну, я без благословенья убежу.

Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану:

— Коптен, тэйк эброд! Возьмите с собой!

У капитана не хватало матросов. Бойкий паренек понравился.

— Хайт ин зи трум! Ступай в трюм!

Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не заметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.

Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь: „На озерах

с ребятами рыбу ловит. Через неделю она выла на весь рынок:

— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!

И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет...

Нету слез против матерних. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:

Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детнице свое отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала;
Каждую бы дверь отворила,
В каждо бы окоице заглянула,
Всех бы про Иванушка спросила...

А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плаванье. В Дании у него была жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал матернины песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце.

Припевая детям матернины перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая...

А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит — грузится корабль. Спрашивает:

— Куда походите?

— В Россию, в Архангельской город.

Забилось сердце у нашего детинушки: „Маму бы по-видать! Жива ли?..“ И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.

Жена с плачем собрала Ваню в путь:

— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там...

— Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу.

Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.

На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой... Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает: „Ежели мама жива, она булочками торгует“.

Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит:

— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!

Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.

У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит...

Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума думу побивает:

„Открыться бы!.. Нет, страшно: она заплачет, мне от нее не оторваться. А семья как?“

В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку, и, пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки двадцать пять рублей.

Так, не признавшись, и отошел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань:

— Эй, женки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой?.. Твенти фэйф рубель!

Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра.

После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону.

Опять Иванушко места прибрать не может: „Надо сплавать на Русь, надо повидать маму“.

Опять жена плачет:

— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит.

— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу.

Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик:

— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу модопрели!..

Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые... Упасть бы в ноги! Может бы, и простила и отпустила... Нет, страшно.

Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних!

Все торговки подивились:

— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?

— А и верно, сын! Больше некому! — И заплакала. — Дитятко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя... Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.

Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весной разливной. Веют летние ветры; кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена:

— Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать...

Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова ко-

раблика. Всплывают русские берега... Вот сгребели якоря, опустилились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостинного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки.

Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит.

И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.

Как он деньги-те пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба:

— Кара-у-ул! Грабя-ат!!!

Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.

Аграфена тихонько говорит приставу:

— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.

Пристав подступил к Ване:

— Признавайтесь, вы ей сын?

— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!

Аграфена закричала с плачем:

— Как это „но андерстенд“! Не поверю, чтобы можно было отеческу говорю забыть... Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!

Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристаям весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:

— Ежели так, пуцай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом.

Пристав приказывает Ивану:

— Раздевайтесь!

Тогда Ваня пал матери в ноги:

— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дантии жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги — пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!

Аграфена застучала кулаком по столу:

— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала...

Заплакал и Ваня:

— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца...

Заревели в голос и торговки:

— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!

Аграфена говорит:

— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками, и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь.

Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:

— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу.

Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванна с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:

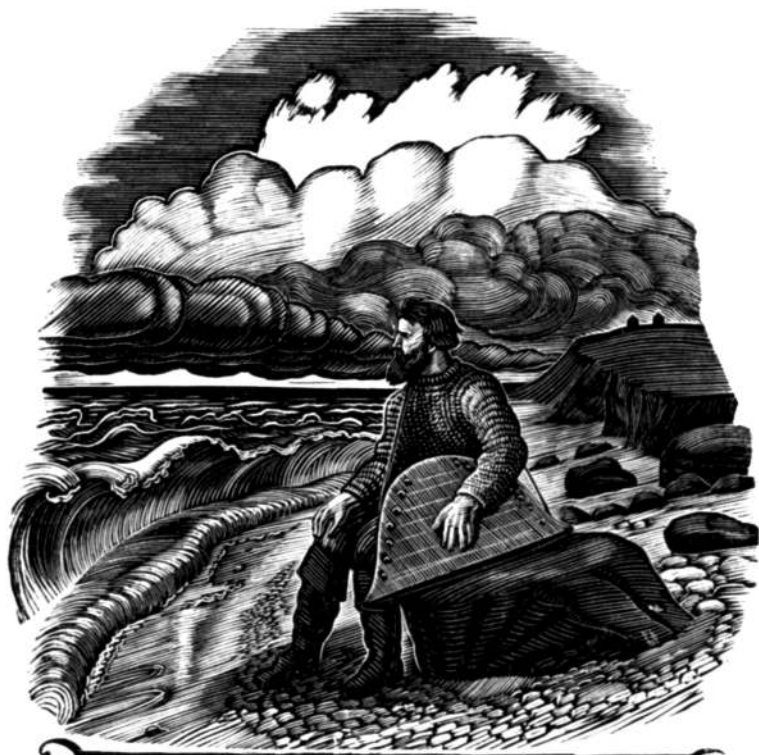
— Джон, останемся тут! Здесь такие добрые люди. Аграфена веселится:

— Верн гуд, невестушка. Где лодья ни рыщет, а у якоря будет.

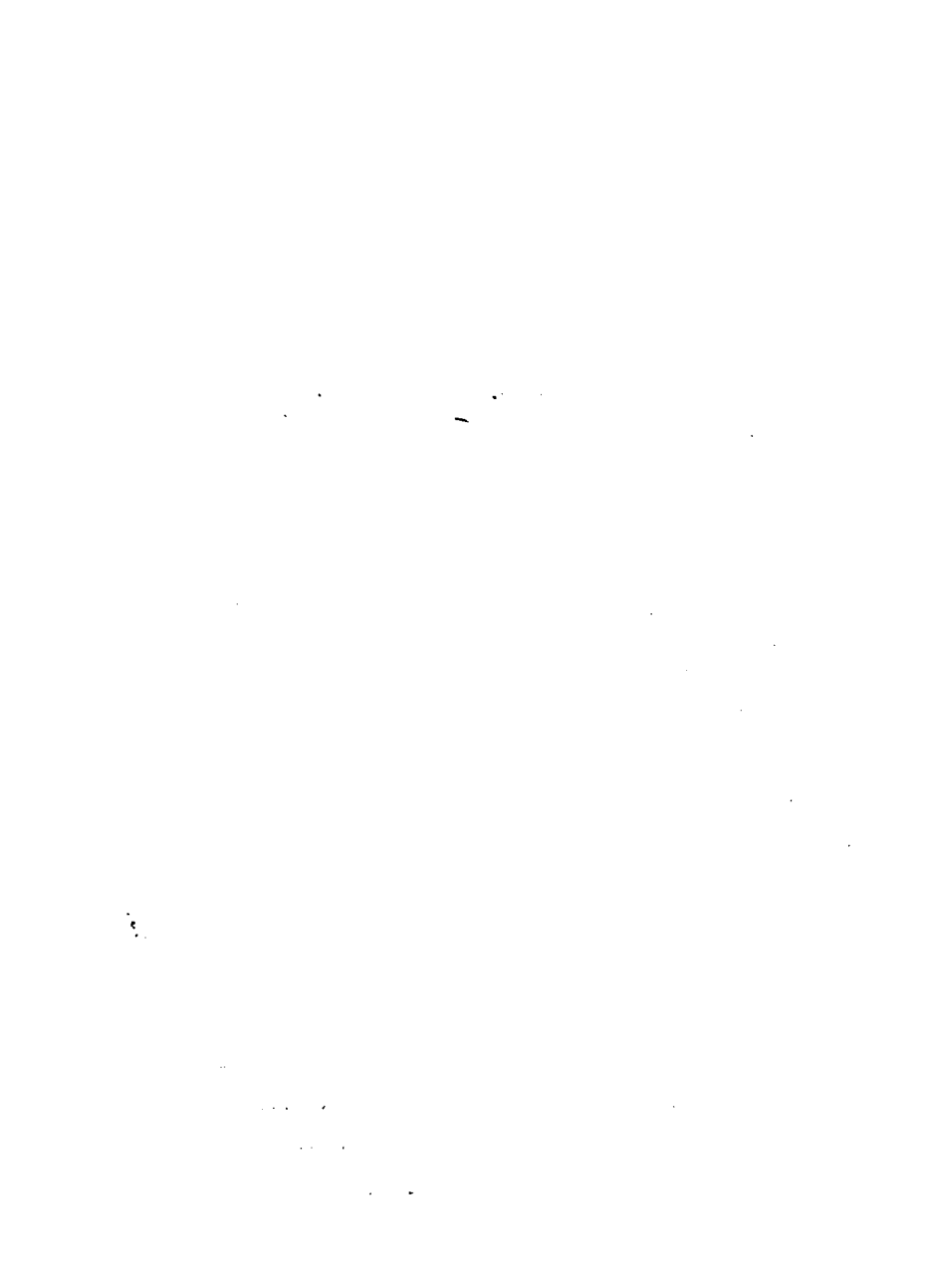
Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси.

По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.





ПОМОРСКИЕ
СТАРИНЫ





О Сухмане Непровиче



кануна у праздника
Угощает князь Сеславьевич
Свою дружину хоробрую.
Ходит чаша рядовная,
Гости пьют, похваляются
Кто могутною силою,
Кто красой молодецкою.
А Сухман-то Непровьевич
Испивает по-малёхоньку,
Говорит по-редёхоньку.
Князь по гридне * похаживает,
У Сухмана выпрашивает:
— Что сидишь не улыбнешься?

Али чара шла не по́ ряду?
Али место не по о́тчине? —
Ответ держит молодой Сухман:
— Та и чаша чиновная,
Я котору ко устам несу.
То и место степенное,
На котором я сiju. —
Говорит князь Сеславьевич:
— Не спесиво ли высловил,
А не хвастливо ли вымолвил?
Ты о чем ладншь хвастати?
Богатырской ли силою
Али красой молодецкою? —
Ответ держит молодой Сухман:
— Моя сила не вам чета,
Моя красота не вам ровня.
А похвастаю силою:
Оснастишь ты, князь Сеславьевич,
Боевые лоды мерные,
Зайдешь в лоды с дружиною,
Со конями, со сбруями,
Я лоды те повыздыму,
Во сине море вынесу.
А в мою-то во красоту
Поглядит солнце красное,
Полюбуются звезды частые.
Говорит князь Сеславьевич:
— Нам догадку высказываешь,
Нам загадку загадываешь.

То ведь кудесы * заветные,
То волшба хитромудрая,
Вещим бабам показана,
Старикам заповедана.
А твои возрасты ранние,
Твои степени молодые.
Дам тебе службу сверстную:
Ты сгуляй ко Непре-реке,
Настреляй гусей-лебедей,
Серых малых утёнышей
Во дворы-ти во княжие,
Нам в потребности домовные.
А и Сухман не ослышится.
Он и едет Непрой-рекой,
На реку-то дивуется,
У реки-то выпрашивает:
— Гой ли, мати Непра-река,
Что течешь не по-старому?
Что волной разгулялася,
Во песках замутилася? —
Отвечает Непра-река:
— Мне ведь как не мутиться.
Во песках не мешаться?
К моему-то ко берегу,
С полуденную сторону,
Подшли злы татаровья,
Семь полков, орда Синяя *.
Они мосты-то вымащивают.
Через меня-то, Непру-реку,

Переходы выкладывают.
Что они в день-то повымостят,
Что во дни-то повыстроят,
То я ночью повырою,
То я ночью повымою.
Я из сил-то повыбилась...
А идут-то татаровья
Ко княжому ко городу,
Ладят город на дым пустить,
Старых-малых повыгубить.
А и тут молодой Сухман,
Он и гонит добра коня
В полудённую сторону.
Красно солнце на зăкате,
Красна солнца не видети,
Что от духу татарского,
Что от поту ордынского.
А и тут молодой Сухман,
Он хватал сыр матёрый дуб
Со корнями из берегу.
А не гроза-то накатится
И не туча навалится,
А ударил молодой Сухман
На полки-то татарские.
Он здымал сыр матёрый дуб.
Выше плечи могучие,
Он и жахнул ко западу,
Отмахнул на восточную.
То-то писку татарского,

То-то визгу ордынского!
А и бил молодой Сухман,
Как косец-то траву косил.
А и ложатся татаровья,
Ложатся увалами,
Лежат перевалами.
А и мати Непра-река
Со постели* повыстала,
На орду-то опружилась.
Она мыла татаровей,
Уносила поганных
Во поддоны — желты пески.
То-то ноченька грозная,
То-то ноченька светлая.
Заря-то вечерняя
С зарею со утренней
Как сестра с сестрой сбьдутся.
На заре той, на утренней,
Заходил молодой Сухман
На гору на Окатову,
Он оглядывал к северу,
Отслушивал к западу.
А ни писку, ни голосу,
А ни визгу, ни шороху.
Лежит орда Синяя,
Как трава-то покошена.
А в живых-то остались,
Остались три татарина.
Они под гору укрылися,

В кусты схоронилися.
А Сухман-то Непровьевич
На горе постаивает,
Сымает золотой шелом,
Расстегнул латы булатные,
Оттирает кровавый пот
По трудех-то великих.
А и три-то татарина
Тянут туги́ луки́,
Пустили три стрелы.
Ударили три стрелы
Во крепку грудь Сухманову,
Во сердце ретивое.
То-то ноченька грозная,
То-то ноченька светлая.
Говорит Непра-река:
— Родимое мое дитятко,
Не вынимай каленой стрелы
Из сердца ретивого!
Дождись зари утренней,
Простись со дружиною.
А во ту пору времени
Во своем-то во городе
Не спит князь Сеславьевич,
С дружиною советует:
— Что без ветру река шумит?
За рекой будто гром гремит.
То не туча грозовая,
Не гроза разгулялася,

Тамо сеча кровавая,
Тамо бой-драка великая!
А и нет ли невзгодушки
Над молодым-то Непровичем?
А и князь со дружиною
На добрых коней падают,
А и гонят Непрой-рекой
В полудённую сторону.
А и тут становилися,
А и тут острашилися:
Круг горы-то Окатовы
Лежит орда Синяя,
Лежат злы татаровья,
Как трава-то покошена.
А и скачет князь с дружиною
На гору Окатову.
Стоит молодой Сухман,
О коня ослоняется,
Говорит таковы слова:
— Здравствуй, князь со дружиною!
Я служил службу раннюю
По моим малым возрастам,
По молодым по степеням.
Набил гусей-лебедей,
Серых малых утёнышей. —
Говорит князь Сеславьевич:
— Уж ты гой еси, Непровьевич,
Богатырь святорусский!
Мне-ка чем тебя жаловать?

В города ли воеводою
Аль несчетной золотой казной? —
Ответ держит молодой Сухман:
— Уж воеводить мне некогда
И казна стала ненадобна.
А и тут молодой Сухман,
Он правой-то рученькой
Выхватывал каленú стрелу
Из своего-то сердечушка...
И не белой снежочек пал —
Непрович с ног упал.
Он упал, упал; лежит.
Белый снег на лицо бежит.
Из груди-то Сухмановой
Ударили три ключа.
Три ключа, вóды светлые
Во потоки свивался,
Большой рекой разбежались.
Объявилась Сухман-река.
От очей-то Сухмановых
По той же Сухман-реке
Объявились два озера,
Вóды синие, светлые.
Налетели тут гуси-лебеди,
Серы малы утёныши.
От костей-то Сухмановых
Поднялись круты бёреги.
От кудрей-то Сухмановых
По той ли Сухман-реке

Вербя раскудрявилась.
А от уст-то румяных
Расцвели цветы алые.
А в красу-то Сухманову,
В воды чистые, светлые
Днем глядит солнце красное,
А в ночи — звезды частые.
А дошла пора времени,
Оснастил князь Сеславьевич
Боевы лоды мерные;
На лоды зашел с дружинами,
Со конями, со сбруями.
Подымала их Сухман-река,
Понесла во синё море.





Емшан-Трава



емшан-трава благоухает,
Песню в уста мои влагает.

Деялось в стародавние годы:
Князь Владимир — Грозные Очи¹
Дружил с половецкой ордою;
В гости звал князей половецких,
Братьев Отра́ка и Сырчана.
И на пиру братьев обидел —
Обнес круговую чашей:

¹ Владимир Мономах (XII век).

Почтил перво Юнду, чудина.
И Сырчан на князя оскорбился:
— У Владимира-князя правды нету,
В гости звал, величал сыновьями,
А чествовал ниже холопа. —
И Отрок Сырчана унимает:
— Не по делу крамолишься*, брате.
Со всеми Володимир ровно грозен,
С боярином грозен и со смердом.
А мы не князю — мы Киеву дружим.
С Киевом у нас нету обиды. —
Сырчан на то рассмехнулся:
— Ты и наймися Киев караулить.
Повесь на бедро колотушку,
Ходи по улицам, стукай!
А моя голова не поклонна,
Я надвое сердце разбиваю:
Родимые степи покидаю,
А с Владимиром-князем мне тесно! —
И ушел Сырчан на чужбину,
С родимою степью простился,
С травами, со цветами...
— Прости и ты, милый брате.
У меня с тобой нету обиды!
И после этого быванья
Черкесские горы и доли
Родиной Сырчан называет,
Стоит за них честно и грозно,
Мечом и щитом обороняет.

И после этого быванья
За годами проходят годы,
И грозный Сырчан-воевода
Царем на горах учинился,
Надел золотую шапку,
Принял серебряный посох,
Сел на высоком троне.
Позабыл родимые степи
Со травами, со цветами,
С вешними ручейками...

И после этого быванья
За годами проходят годы.
Умер в Киеве князь Володимир,
Закрыв свои грозные очи...
И Отрок гонца снаряжает:
— Пospешай в Черкесские горы,
Сказывай кончину Мономаха,
Домой зови брата Сырчана,
Пой ему половецкие песни.
А если не послушает песен,
Подай ему пучок травы емшана,
Подай вот эту горсть травы душистой..

И голец в дорогу напустился.
Горные дороги протяжны,
Емшан в пути завял и высох,
Но живет его благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье.

И после этого быванья
Гонец доступает до Сырчана.
Сырчан с дружиной пирует.
На челе золотая шапка,
В руках медвяная чаша.
— Здравствуй, гонец половецкий!
Сказывай вести от брата.

И звенят половецкие гусли,
Под гусли гонец держит слово:
— Вернись домой, господине!
Умер грозный князь Володимир,
Закрылись орлиные очи.
Вернись домой, господине!
Новый князь любителен и ласков. —
Сырчан на то усмехнулся:
— Что мне до княжеской ласки!
Я царь над тремя городами,
Над всею Черкес-горою!
Я Киевского князя не меньше. —
Но звенят половецкие гусли
Перелетных птиц голосами,
Весенними ручейками:
— Вернись домой, господине!
Помяни половецкие степи.
У нас реки, озера разлилися,
Лебеди и гуси — будто пена.
И Сырчан хмурит грозные брови:
— Добро, игрец половецкий!

Мне мать певала эти песни.
Вспомнил я голоса степные...
Да мне домой не вернуться,
С золотою клеткой не расстаться,
Не сменить дворца на кибитки.

Тогда гонец половецкий
Подает царю пучок емшана,
Подает пучок травы душистой.
И царь берет траву, дивясь,
И к лицу пучок травы степной подносит.
И стряслося дивное диво:
Грозный царь прикрыл глаза рукою
И, пучок степной травы целуя, плачет.
Жмет к устам пучок травы душистой,
И по грозной бороде струятся слезы...
Нежное травы благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье...

И Сырчан не видит гор, теснин угрюмых.
Степь перед ним бескрайная сияет,
Половецкие кибитки вереницей,
Мать поет, емшан-траву собирает;
Та трава печали отымает...

И молчит разгульная дружина,
И дивит на слезы господина...
А Сырчан встает тих и весел.
С головы сложил царскую шапку,

Царский посох в угол поставил;
Надевает сукман* половецкий,
Пастушью шапку баранью,
Меч по бедре опоясал.
Сел на коня и молвил:
— Прощайте, живите, други!
Зовет меня милая отчизна.
Ухожу в половецкие степи,
В родимую землю навеки!..

И после этого быванья
Два всадника правят дорогу,
Правят под северный ветер.
Сырчан и гонец половецкий
В милую едут отчизну, —
Едут денно и ночью,
Синие дали соглядают:
Не блеснут ли реки степные,
Не сбелеют ли шатры кочевые.





Ссора Илби Муромца с князем Владимиром

Что во городе во Кневе,
У князя Володимира,
Заводился почестен пир.
Тут все-то созваны
Князья, и бояре,
И могучие богатыри:
Добрыня Никитич свет,
Алеша Попович млад,
И Дюк Стенанович,
И Василий Буেলাевич.
Только нету матерого старика,
Только нету Ильи Муромца.
Не позвали Ивановича.

Илье то Муромцу
Обидно палось.
Он с полатей спрядывает,
Шелковы́ портки подтягивает,
На крылечко выхаживает.
Тугой лук натягивает,
Калену́ стрелу накладывает...
Полетела каленá стрела,
Отшибала маковки
У хорóм-то боярских,
У домов-то купецких.
Илья-то Иванович
По улке похаживает,
Кричит во всю голову:
— Эй вы, голн кабацкие,
Доброхоты царские!
Собирайте золоты коньки,
Хрустальные маковки,
Волоките во царевы кабаки,
Пропивайте на зеленом на вине,
Поминайте Ильи Муромца
Обиду великую!
Эти голн кабацкие,
Все горькие пьяницы,
Собирали золоты коньки,
Хрустальные маковки,
Потащили во царевы кабаки,
Пропивали на зеленом на вине.
Эти голн кабацкие,

Они будут во полѹпьяне.
Илья-то Иванович
По кабакам-то похаживает,
Умильно выговаривает:
— Вы, други любезные,
Голи кабацкие,
Не оставьте старого
Старичонка убогого,
Илейку-то Муромца
На обиде великия¹.
Пойдем на княжий двор,
Володимира повыгоним,
Со княжа стола * повысадим! —
Говорят голи кабацкие:
— Илья Иванович,
Твое пили-кушали,
Тебя и слушаем!
Эти голи кабацкие,
Все горькие пьяницы,
Они валят по городу,
Идут по Киеву,
Бежат на княжий двор.
Володимир стольно-киевский
Увидал, закручинился:
— Охти, тошнѹхонько!
Илья-то Муромец
Сосбирал голей кабацких.

¹ Старинная форма предложного падежа в единственном числе.

Идут меня выгонити,
Со стола-то повысадити!
Ты, Добрыня Никитич свет,
С Ильей-то Муромцем
Вы братья крестовые.
Ты Илью поугovarивай,
Не ходил бы на мой-то двор
Со голями кабацкими *.
И Добрыня Никитич свет
Добывал Илью Муромца,
С головы ронил шапоньку,
Умильно выговаривал:
— Илья Иванович,
Крестовый брáтелко!
Мы крестами менялися,
Поясами поясалися,
У нас клятва положена
Друг друга слушати.
Не ходи ты на княжий двор
Со голями кабацкими. —
Говорит Илья Муромец:
— Я князя ничем зову,
Я Владимира не слушаю,
По я слушаю Добрынюшку,
Крестового брателка:
Нейду на княжий двор,
Не велю голям кабацким.
Что со этой-то радости
Володимир стольно-киевский

Принадвинул белодубовых столов,
Принабавил питей-кушаний.
Говорит Добрынюшке:
— Ступай, Никитич млад,
Зови-тко Муромца
Ко мне на княжий пир,
Ко мне во княжий стол.
И Добрыня Никитич свет
Добывал Илью Муромца,
С головы ронил шапочку,
Умильно выговаривал:
— Илья Иванович,
Крестовый брателко!
Мы крестами менялися,
Поясами поясалися.
У нас клятва положена
Друг друга слушати:
Пожалуй во княжий пир,
Пожалуй во княжий стол. —
Говорит Илья Муромец:
— А я князя ничем зову,
А я князя ни во что кладу,
Но я слушаю Добрынюшку,
Крестового брателка:
Приду во княжий стол,
Приду во княжий пир.
Будет пир во полúнуре,
Княжий стол во полúстоле.
А и тут песни поют,

А и тут гудки гуднут,
Тогда Илья пожаловал.
И Владимир стольно-киевский.
Он прядал со лавицы,
Илье в пояс кланялся,
Умильно выговаривал:
— Что уж гость-от идет не по нам,
Не по нашим достаточкам.
Илью-то Ивановича,
Гостенька самолучшего,
Я чем буду потчевати,
Я как буду чествовати? —
Говорит Илья Муромец:
— Ты хитёр, Володимир-князь,
Догадался кого послать
По Илейку-то Муромца.
Кабы не Добрынюшка,
Не его речи умильные,
Тебе не быть бы во городе,
Не сидеть на княжом столе.
Старина стародавняя,
Былина, была досельная*
Морю на утешенье,
Добрым людям на услышанье.





о Б Авдотбе Рязаночке

Зачинается доброе слово
Про Авдотью-женку, Рязанку.
Дунули буйные ветры,
Цветы на Руси увяли,
Орлы на дубах закричали,
Змеи на горах засвистали.
Деялось в стародавние годы.
Не от ветра плачет синее море,
Русская земля застонала.
Подымался царице татарский
Со своею Синей ордою,
С пожарами, со смертями.

Города у нас на дым пускает,
Пепел конским хвостом разметает,
Мертвой головой по земле катит.
И Русь с Ордой соступилась,
И были великие сечи...
Кровавые реки пролилися,
Слезные ручьи протекали.
Увы тебе, стольный Кнев!
Увы, Москва со Рязанью!
В старой Рязани плач с рыданьем:
Носятся страшные вести.
И по тем вестям рязанцы успевают,
Город Рязань оберегают:
По стенам ставят крепкие караулы,
В наугольные башни — дозоры.

Тут приходит пора-кошенна.
Житье-то бытие править надо.
Стрелецкий голова с женою толкует,
Жену Авдотью по сено сряжает:
— Охти мне, Дунюшка-голубка,
Одной тебе косить придется.
Не съездить тебе в три недели,
А мне нельзя от острога* отлучиться,
Ни брата твоего пустить с тобою,
Чтобы город Рязань не обезлюдить.

И Авдотья в путь собралася,
В лодочку-ветлянку погрузилась.

Прощается с мужем, с братом,
Милого сына обнимает:
— Миленький мой голубочек,
Сизенький мой соколик,
Нельзя мне взять тебя с собою:
У меня работа будет денно-нощна,
Я на дело еду скороспешно.

После этого быванья
Уплыла Авдотья Рязанка
За три леса темных,
За три поля великих.
Сказывать легко и скоро,
Дело править трудно и долго.
Сколько Авдотья сено ставит,
Умом-то плавает дома:
„Охти мне, мои светы,
Всё ли у вас по-здорову?“

А дни, как гуси, пролетают,
Темные ночи проходят.
Было в грозную ночку —
От сна Авдотья прохватилась,
В родимую сторонку взглянула:
Над стороной над Рязанской
Трепещут пожарные зори...
Тут Авдотья испугалась:
— Охти мне, мои светы!
Не наша ли улица сгорела? —

А ведь сена бросить не посмела:
Сухое-то кучами сгребала,
Сучьем суковатым пригнетала,
Чтобы ветры-погоды не заделли.
День да ночь работу хватала,
Не спала, не пила, не ела.
Тогда в лодчонку упала,
День да ночь гребла, не отдыхала,
Весла из рук не выпускала.
Сама себе говорила:
— Не дрожите, белые руки,
Не спешите, горячие слезы! —
Как рукам не трястися,
Как слезам горячим не литься?
Несет река головни горелы,
Плывут человеческие трупы.
На горах-то нет города Рязани,
Нету улиц широких,
Нету домовного порядка.
Дымом горы повиты,
Пеплом дороги покрыты.
И на пеплышко Авдотья выбредала.

Среди городского пепелища
Сидят три старые бабы,
По мертвым кричат да воют,
Клянут с горя небо и землю.
Увидели старухи Авдотью:
— Горе нам, женка Авдотья!

Были немилые гости,
Приходил царище татарский
Со своею Синею ордою,
Наливал нам горькую чашу.
Страшен был день тот и грозен.
Стрелы дождем шумели,
Гремели долгомерные копыя.
Крепко бились рязанцы,
А татар не могли отбить,
Города Рязани отстояти.
Убитых река уносила,
Живых Орда уводила.
Увы тебе, женка Авдотья,
Увы, горегорькая кукуша!
Твое теплое гнездышко погибло,
Домишечко твое раскатилось,
По камешку печь развалилась.
Твоего-то мужа и брата,
Твоего-то милого сына
В полон увели татары!

И в те поры Авдотья Рязанка
Зачала лицо свое бити,
Плачем лицо умывати,
Она три дня по пеплышку ходила,
Страшно, ужасно голосом водила,
В ладони Авдотьюшка плескала.
Мужа и брата кричала,
О сыне рыдала неутешно.

Выплакала все свои слезы,
Высказала все причитанья.

И после этого быванья
Вздумала крепкую думу:
— Я пойду вслед Орды, вслед татарской,
Пойду по костям по горелым,
По дорогам пойду разоренным.
Дойду до Орды до проклятой,
Найду и мужа и брата,
Найду своего милого сына!

Говорят Авдотьѣ старухи:
— Не дойти тебе Орды за три года.
Пропадешь ты, женка, дорогой,
Кости твои зверь растащит,
Птицы разнесут по белу свету.

Говорит Авдотья старухам:
— То и хорошо, то и ладно!
Дожди мои косточки умоют,
Буйные ветры приобсушат,
Красное солнце обогреет. —
Говорят Авдотьѣ старухи:
— В Орде тебе голову отымут,
Кнутом тебе перебьют спину.

— Двум смертям не быватьи,
А одной никому не миновати!

И пошла Авдотья с Рязани:
Держанный на плечах зипунишко,
Па ногах поношены обутки.
И поминнок добыла своим светам:
Пояса три да три рубахи.
— Пайду их живых или мертвых,
В чистые рубахи приодену.

Шла Авдотья с Рязани,
Суковатой клюкой подпиралась.
Шла она красное лето,
Брела она в грязную осень,
Подвигалась по снегу, по морозу.
Дожди ее насекают,
Зимние погоды заносят.
Страшно дремучими лесами:
В лесах ни пути, ни дороги.
Тошно о лед убиваться,
По голому льду подаваться.
Шла Авдотья с Рязани,
Шла к заре подвосточной,
Шла в полуденные страны,
Откуда солнце восходит,
Смену несла своим светам:
Три пояска да три рубахи.
Шла, дитя называла,
Мужа и брата поминала.
Тогда только их забывала,
Когда крепким сном засыпала.

Шла Авдотья близко году,
Ела гнилую колоду,
Пила болотную воду.
До песчаного моря доходила.
Идут песчаные реки,
Валится горючее каменьё,
Не видать ни зверя, ни птицы;
Только лежат кости мертвых,
Радуются вечному покою.
В тлящих полуденных ветрах,
В лютых ночных морозах
Отнимаются руки и ноги,
Уста запекаются кровью.

И после этого быванья
Веют тихие ветры.
Весна красна благоухает,
Земля цветами расцветает.
Женочка Авдотья Рязанка
На высокую гору восходит,
Берега небывалые видит:
Видит синее широкое море,
А у моря Орда кочевала.

За синими кудрявыми дымами
Скачут кони табунами,
Ходят мурзы-татарё,
Ладят свои таборы-улусы.
Тут-то Авдотью увидали,

Врассыпную от нее побежали:
— Алай-булай, яга-баба!
— Алай-булай, привиденье! —
Голосно Авдотья завопила:
— Не бегайте, мурзы-татаре!
Человек я русского роду.
Иду в Орду больше году,
Чтобы вашего царя видеть очи. —
И в ту пору и в то время
Авдотью к царицу подводят.
Блестят шатры золотые,
Стоят мурзы на карачках,
Винькают в трубы и в набаты,
Жалостно в роги играют,
Своего царища потешают.

Сидит царище татарской
На трех перинах пуховых,
На трех подушках парчовых.
Брови у царища совины,
Глаза у него ястребины.
Усмотрел Авдотью Рязанку,
Заговорил царище, забаял:
— Человек ты или привиденье?
По обличью ты русского роду.
Ты одна-то как сюда попала?
Ты не рыбою ли реки проплывала,
Не птицей ли горы пролетала?
Какое тебе до меня дело?

И женка Авдотья Рязанка
Его страшного лица не убоялась:
— Ты гой еси, царище татарский,
Человек я русского роду,
Шла к тебе больше году,
Сквозь дремучие леса продиралась,
О голые льды убивалась,
Голод и жажду терпела,
От великой нужды землю ела.
Я шла к тебе своей волей,
У меня к тебе обидное дело:
Приходил ты на Русь со смертями,
С пожарами, с грабежами,
Ты разинул пасть от земли до неба,
Ты Рязань обвел мертвою рукою.
Катил по Рязани головнею,
Теперь ты на радости пируешь...

Ей на то царище рассмехнулся:
— Смело ты, женка, рассуждаешь,
Всего меня заругала!
Не слышал я такого сроду.
А не будем с тобою браниться,
Давай, Рязанка, мириться.
Какое тебе до меня дело? —
Говорит Авдотья Рязанка:
— Ты увел в полон моего мужа и брата,
Унес моего милого сына.
Я ночью и днем их жалею,

Покажи их живых или мертвых.
Я одену их в чистые рубахи,
Поясами их опояшу,
Покричу над ними, поплачу,
Про запас на них нагляжуся.

И царь на Авдотью дивится:
— Орда молодцов видала,
Такого образца не бывало!
Не князь, не посол, не воин --
Женочка с Рязани, сиротинка,
Перешла леса и пустыни,
Толкучие горы перелезла,
Бесстрашно в Орду явилась...
Гой вы, мурзы-татаре,
Приведите полоняников рязанских,
Пушай Авдотья посмотрит,
Жив ли муж ее с братом,
Тут ли ее милое чадо!

И полон рязанский приводят,
И Авдотья видит мужа и брата,
Живого видит милого сына.
И не стрела с тугого лука спряну́ла,
Не волна о берег раскатилась,
С семьей-то Авдотьюшка свидалась.
Напали друг другу на шею,
Глядят, и смеются, и плачут.

Говорит царище татарский:
— Жалую тебя, женка Авдотья,
За твое годичное хождение:
Из троих тебя жалую единым,
Одного с тобою на Русь отпускаю.
Хочешь, бери своего мужа,
Хочешь, бери себе сына,
А хочешь, отдам тебе брата.
Выбирай себе, Рязанка, любого.

И в ту пору и в то время
Бубны, набаты замолчали,
Рог и жалейки перестали.
А женка Авдотья Рязанка
Горше чайцы морской возопила:
— Тошно мне, мои светы!
Тесно мне отовсюду!
Как без камешка синее море,
Как без кустышка чистое поле!
Как я тут буду выбирать,
Кого на смерть оставлять?!
Мужа ли я покину?
Дитя ли свое позабуду?
Брата ли я отступлюся?..

.

Слушай мое рассуждение,
Не гляди на мои горькие слезы:
Я в другой раз могу замуж выйти,
Значит, мужа другого добуду.

Я в другой раз могу дитя родити,
Значит, сына другого добуду.
Только брата мне не добыти,
Брата человеку негде взяти...
Челом тебе бью, царь татарский,
Отпусти на Русь со мною брата!

И в то время женка Рязанка
Умильно перед царищем стояла,
Рученьки к сердцу прижимала,
Не мигаючи царю в очи глядела,
Только слезы до пят протекали.
Тут не на море волна прошумела,
Авдотью Орда пожалела,
Уму ее подивилась.
И царище сидит тих и весел,
Ласково на Авдотью смотрит,
Говорит Авдотье умильно:
— Не плачь, Авдотья, не бойся,
Ладно ты сдумала думу,
Умела ты слово молвить.
Хвалю твое рассужденье,
Славлю твое умышление.
Бери себе и брата, и мужа,
Бери с собой и милого сына.
Воротися на Русь да хвастай,
Что в Орду не напрасно сходила.
На веках про Авдотью песню сложат,
Сказку про Рязанку расскажут...



А и мне, царицу, охота,
Чтобы и меня с Рязанкой похвалили,
Орду добром помянули.
Гей, рязанские мужи и жены,
Что стоите, тоскою покрыты?
Что глядите на Авдотыну радость?
Я вас всех на Русь отпускаю.
Гей, женка Авдотья Рязанка!
Всю Рязань води из полону,
И будь ты походу воевода.

И в те поры мурзы-татаре
Своего царица похваляют,
Виньгают в трубы и в роги,
Гудят в набаты, в бубны.
И тут полоняники-рязанцы
Как от тяжкого сна разбудились,
В пояс Орде поклонились,
Молвили ровным гласом:
— Мир тебе, ордынское сердце,
Мир вашим детям и внукам!

И не вешняя вода побежала,
Пошла Рязань из полону.
Понесли с собой невод и кáрбас
Да сетей поплавных — перемётов,
Чем, в дороге идучи, питаться.
Впереди Авдотья Рязанка
С мужем, с братом и с сыном,

Наряжены в белые рубахи,
Опоясаны поясами.

После этого быванья
Воротилась Рязань из полону
На старое свое пепелище,
Житье свое управляют,
Улицы ново поставляют.

Были люди, миновались,
Званье, величанье забывалось.
Про Авдотью память осталась,
Что женка Авдотья Рязанка
Соколом в Орду налетала,
Под крылом Рязань уносила.





Об Иване Грозном и его сыне Федоре

Высоко, высоко небо синее,
Широко, широко океан-море,
А мхи-болота — конца им нет
От нашей Двины, от Архангельской.
Заволакивает небо в темны тучи,
Остеклело широко океан-море,
Надо мхами-болотами метель метет,
Та ли осенняя непогодушка.

Заводилась непогода у синя моря,
Доносило непогоду до Святой Руси.
На Святой Руси, в каменной Москве.

В каменной Москве, в Кремле-городе,
У царя у Ивана у Васильевича
Было пированье, почестен стол.
Все на пиру пьяны-веселы,
Все на пиру стали хвастати.
Прирасхвастался Иван Грозный царь:
— Я взял Казань, взял и Астрахань.
Я повывел измену из Пскова,
Я повывел измену из Новгорода,
Я повыведу измену из каменной Москвы!

Говорит же тут его младший сын,
Младший сын Федор Иванович:
— Вы слышали ли, бояре, такую беду.
Что сей ночи, со полуночи,
Москва-река течет кровню,
Той ли кровью княжескою?
А на крутых бережочках не камешки,
А валяются головешки боярские... —
А и гости-то царевичу перстом грозят,
Поют-ревут, его унять хотят.
А расслушал же Малюта Скуратов сын,
Говорит Малюта царю Грозному:
— Хоть ты взял Казань, взял и Астрахань,
Хоть повывел измену из Пскова,
Хоть повывел измену из Новгорода,
Тебе не вывести измену из каменной Москвы:
С тобой измена за столом сидит,
С одного с тобой блюда хлеба кушает,

Из одной енды пива-меду пьст.
Твой-то сын Федор Иванович
Сказывает боярам таковы слова:
„Москва-де река течет кровию,
Той ли кровью неповинною.
А на крутых берегах лежат не камешки —
Валяются головушки христьянские“.

И Грозный царь распрогневался,
Скачет царь на резвы ноги.
От того поскоку ретивого
Белодубовы столы пошатались,
В ендах питья расплескались,
Хлебы ситны колесом покатились,
Браны скатерти в трубу завивались.
Кричит же царь зычным голосом:
— Вы гой, палачи немилостивы,
Имайте царевича за белы руки,
Ташите его за Москва-реку,
На то на Болото на Торговое,
Кладите на плаху на липову,
Секите ему буйну голову!

И все палачи приустрáшились,
И все палачи приужáснулись...
Один Малюта не ужáснулся,
Один Скуратов не устрáшился.
Хватал царевича за белы руки,
Поволок его за Москва-реку,

На то на Болото на Торговое.
Кладет его на плаху на дубовую,
Ладит сечь буйну голову.

А и эта весточка престрашная,
Что царь казнит своего сына, —
Летит эта вестка по всей Москве,
По той ли улице Никитския.
Тут стоят хоромы высокие,
Живет царевичев дядюшка,
Боярин Никита Романович.

И дядюшка приужаснулся,
Прядал с постели со мягкия,
Сапожки насунул на босу ногу,
Шубоньку на одно плечо,
Шапоньку на одно ушко.
Ему некогда седлать добра коня,
Он падал на клячу водовозную.
Он гонит клячу через всю Москву;
Он застал Малюту на зáмахе.
Схватил любезного племянника,
Спрятал племянника за пазуху,
Застегнул на пуговики серебряны,
Кричит, зычит таковы слова:
— Собака, вор ты, Скуратов сын,
Мироед ты, съедник, пересел весь мир!..
Сплыви, собака, за Москву-реку,
Поймай в чистом поле татарина,

Ссеки ему буйну голову,
Снеси царю саблю кровавую,
И царь тому делу поверует. —
И дядюшка Пикита Романович
Увез племянника во свой во двор,
Спрятал во покон во особые,
Созвал скоморохов веселых
Утешати опального царевича,
Поколь утолится отецкий гнев.

А Малюта сплыл за Москву-реку,
Поимал в чистом поле татарина,
Срубил ему буйну голову,
Принес к царю саблю кровавую.
И Грозный царь зажалел сына.
Снимал с головы золотой венец*,
Заокутал лицо во черной кlobук;
Свои же он ризы царские
Заокутал манатьей чернеческой*.
Засветил лампаду негасимую,
Отворил книгу псалтырь великую
И заплакал по сыне по Федоре:

— Белопарусной кораблик ушел за море,
Улетела чаица за синее.
Кудрявая елиночка посечена,
Золота верба весенняя порублена.
Нет у меня сына милого,
Я казнил свое детище любимое... —

И плачет царь ровно шесть недель.
Шестинедельная панихида миновалася,
Незатворна псалтырь затворялася,
Негасима лампада погашалася.
Поехал царь за потехами,
За утками поехал, за лебедями.
А и надо ехать через всю Москву.
По той ли улице Никитския.
А у дядюшки Никиты Романовича
Песни поют и гудки гудут,
Играют скоморохи удалые,
Веселят опального царевича.

И грозный царь распрогневался,
Позвал дядю на красно крыльцо,
Ему ткнул копьё во праву ногу,
А сам говорит таковы слова:
— Ты старая курва, седатой псе!
Что у тебя за пир такой?
Что у тебя за весельице?
Не знаешь ли ты, не ведаешь,
Что померкло у нас солнце красное,
Погасла звезда раноутренняя?
Ведь казнил я своего сына милого,
Ведь нет в живых твоего племянника!
Так всегда в каменной Москве:
По всяком по воре по боярине,
По всяком князе-изменнике
Много на Москве плачу-жалобы.

По моем только по милом по детище
Никого в Москве нету жалобного.

В те поры Никита Романович
Бежит во покои во особые.
Он выводит к царю сына Федора
Жива, здрава, невредимого.

И грозный царь Иван Васильевич
Падая дяде в правую ножечку:
— Ты от смерти спас мое детище,
Ты от муки спас мою душу грешную!
Я как тебя, дядя, буду чествовать?
Я чем тебе буду благодарствовать? —
Говорит Никита Романович:
— Садись-ко, царь, на ременчат стул,
Пиши-ко ярлык скорописчатый,
Даруй льготу нерушимую
Для нашей улицы Никитеския:
„Кто-де на улицу Никитскую
От царского гнева укроется,
Не тронуть того царским приставам,
Не задеть того лютым опричникам“.





Поморские Сказки





Дивный Гудочек



отца, у матери был сынок Романушко и дочка, девка Восьмуха. Романушко — желанное дитятко, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки загребушие, глаза завидующие.

Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи мхи, родятся ягодки красные и синие.

Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать. Матка им говорит однажды:

— Тятенька из-за моря поясок привез атласный.

лазорева цвету. Кто сегодня больше ягод принесет, тому и пояс.

Принесли ребята на мох, берут ягоду-морошку. Брателко все в коробок да в коробок, а сеструха все в рот да в рот.

В полдни стало жарко, солнечно.

У Романушки ягод класть некуда, а у Восьмухи две морошины в коробу катаются, и те мелкие и зеленые.

Она и едумала думку и говорит:

— Братец, солнце уж на обеднике! Ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребенком буду учесывать.

Романушко привалился к сестре в колени. И только у него глазки сомкнулись, она нанесла нож, да и ткнула ему в белое горлышко... И не пуховую постелю постилает, не атласным одеялом одевает: положила брателка в болотную жемь, укутала, укрыла белым мохом. Братневы ягодки себе высыпала. Домой пришла, ягоды явила:

— Без расклонки брала, выдать мне-ка атласный пояс!

— Романушко где-ка?

— Заблудился. Его лесной царь увел.

Люди в лес побежали, Романушку занесли, в колокол зазвонили... Романушко не услышал, на звон колокольный не вышел. Только стала над ним на болотце расти кудрявая рябина.

Ходят по Руси веселые люди — скоморохи, народ утешают песнями да гусями. Поводырь у скоморохов свет Вавило. И пришли они на белые оленьи мхи, где Романушко лежит. Видит Вавило рябинку, высек теснику,

сделал гудок с погудалом. Не успел погудальце на гудок наложить, запел из гудочка голосок жалобно, печально:

Скоморохи, потихоньку,
Веселые, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Продрожье взяло скоморохов:

— Эко диво, небывалое дело! Гудок человеческим языком выговаривает!

А Вавило-скоморох говорит:

— В этом гудке велика сила и угодье.

Вот идут скоморохи по дороге да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь переждать попросились:

— Пустя, хозяин, веселых людей — скоморохов!

— Скоморохи, здесь не до веселья! У нас сын потерялся!

Вавило говорит:

— На-ко ты, хозяин, на гудке сыграй. Не объявится ли тебе какого дива.

Не поспел отец погудальце на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок:

Тятенька, потихоньку,
Миленький, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белые мхи положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Мать-то услышала! Подкосились у нея с колен резвы ноженьки, подломилися с локот белы рученьки, перепало в груди ретиво сердце:

— Дайте мне! Дайте скорее!..

Не поспела мать погудальце на гудок наложить, запел гудок, завывоваривал:

Маменька, потихоньку,
Родненькая, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Пала мать на пол, клубышком закаталась... И почто с печали смерть не придет, с кручины душу не вынет!

Сошлась родня и вся порода, собрались порядовные соседи. Ставят перед народом девку Восьмуху и дают ей гудок:

— На-ко, ты играй!

Побелела Восьмуха, как куропать. Не успела погудальце на гудок наложить, и гудок поет грозно и жалобно:

Сестрица, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Ты меня убила,
В белые мхи схоронила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Восьмуха шибла погудальце об пол. Вавило подхватил да стегнул девку в пояс. Она перекинулась воро-

ной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела окном.

Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавило повелел снять мох под рябиной...

Мать видит Романушку, бьет ладонями свое лицо белое. А Вавило говорит:

— Не плачьте! Поне время веселью и час красоте!

Заиграл Вавило во гудочек, а во звончатый во переладен, и народ запел:

Грозная туча, накатися,
Светлы дожди, упадите!
Романушко, убудися,
На белый свет воротися!

И летает погудало по струнам, как синяя молния. Гременул гром. Над белыми мхами развеличилось облако и упало светлым дождем на Романушку. И ожил дитя, разбудился, от мертвого сна прохватился. Из-под кустышка вставал серым заюшком, из-под белого мха горностаюшком. Людям на диво, отцу-матери на радость, веселым людям-скоморохам на славу.





Пойга и Лиса



Жил юный Пойга Корелянин. Жил житьем у вершины реки. Наехала на него шведка Кулимана *, дом и оленей схватила. Пойга и пошел вниз по реке. У Лисей горы изготовил ловушку и пошел умыться. Видит — на воде карбас, в нем снят. На берегу девица, не спит. Ночь летняя, сияющая.

Пойга не испугался красоты этой девицы:

— Ты не звезда ли утренница?

Она засмеялась:

— Если я звезда, ты, должно быть, месяц молодой. По сказкам, он гоняется за утренней звездой.

— Чья же ты?

— Я дочь вдовы Устьянки. В карбасе моя дружина, пять уверенных старух. Плавали по ягоды по мамкину указу.

Пойга взмолился к ней:

— Девница, подожди здесь! Я тебе гостинец принесу, лисенчку.

Он к ловушкам поспешил к своим, — туда залезли лисьи дети. Он обрадовался: „Не худой будет подарок для девницы“.

И тут прибежала Лисья мать. Стала бить челом и плакаться:

— Пойга, милый, отдай мне моих детей!

Он говорит:

— На что много плачешь, Лиса? Мне твое горевантно. Меня самого шведская Кулимана обидела. Возьми детей.

Пока Лиса да Пойга разговаривали, старух на карбасе засели комары. Устьянкина дочь и утлыла домой...

Пойга опять идет вниз по реке.

На новый месяц догоняет его Лисья мать. Пойга удивился:

— Ты на кого детей-то бросаешь?

Лисенца говорит:

— Есть у меня родни-то. Это ты один, как месяц в небе. Я тебя женю на дочери вдовы Устьянки. За твое добро тебе добро доспею.

Вот они дошли до Устья. Тут сделали шатер из белого моху. Лисица говорит:

— Пойга, нет ли у тебя хоть медной денежки?

— У меня серебряных копеек пять.

Лисица прибежала в дом к Устьянке и говорит:

— Государыня Устьянка, Пойга, мой сынок, просит мерку — четверик: хочет жито мерить.

— Возьми.

Лисица принесла мерку в шатер, зашла в зацеп и несет мерку обратно:

— Государыня Устьянка, дай меру побольше — четвериком мерить долго.

Вдова дала Лисе полмеру и говорит дочери:

— Гляди, в четверике-то серебро застряло. Вот какое „жито“ меряют, хитряги!

Лиса опять там в полмеру за обруч влезла три серебряных копейцы и несет обратно. Устьянка опять приметила серебро, однако виду не подала, спрашивает:

— Для какого случая зерно-то меряли?

— Жениться собирается.

— Пожиточному* человеку что собираться? Посватался, и всё.

— Государыня Устьянка, я ведь и пришла твою дочку сватать.

Вдова говорит:

— Надобно жениха-то в лицо поглядеть.

Ведет Лисица Пойгу на смотрины и думает: „Не гораздо ты, жених, одет. В чем зверя промышляем,

в том и свататься идем“. А идут они через болото, по жерди ступают. Лиса и подвернулась Пойге под ноги, он и слетел в болото.

На сухое место выбрался, заплакал:

— Испугается меня теперь невеста. Скажет, чёрт из болота вылез...

А Лиса над ним в покоточку хохочет:

— Сохни тут, тетеря косолапая! Я хорошую одежду принесу.

Лисица к Устьянке прилетела:

— Как быть, государыня? С женихом-то смех и горе! К вам на смотрины торопился, на болоте подопнул и ляпнул в грязь. Обиделся, назад пошел.

Вдова зашумела на Лису:

— Как это назад пошел?! Глухая ты сватья! Возьми вот мужа моего одежду. Пусть переоденется да к нам, к горячим пирогам.

Вот Пойга в дом заходит. Невеста шеннула ему украдкой в сених:

— Ты виду не показывай, что мы встречались.

Пойга за столом сидит, ни на кого не глядит, только на себя: глянется ему кафтан василькового сукна, с серебряными пуговками.

Вдова и шепчет Лисе:

— Что это жених-то только на себя и смотрит?

Лисица отвечает:

— Он в соболях, в кунницах ведь привык ходить. Ему неловко в смёрном-то кафтанчике.

Вдова и говорит Пойге:

— Ну, добрый молодец, сидишь ты — как свеча горюшь. Не слышно от тебя ни вздора, ни пустого разговора. Ты и мне и дочке по уму, по сердцу. Однако, по обычаю, надо съездить посмотреть твой дом, твое житье-бытье.

Пойга и смутился: как быть? Ведь дом-то швед схватил...

А Лиса ему глазком мигает, чтобы помалкивал, и говорит:

— Обряжай, Устьянка, карбас. Возьми в товарищи уверенных людей, и поплывем смотреть житье женихово. Не забудь взять в карбас корабельный рог.

Вот плывет дружина в карбасе: Устьянка с дочкой, Пойга, да Лиса, да пять уверенных старух. Подвигались мешкотно: по реке пороги каменные; однако до вершины добрались.

На заре на утренней Лисица говорит:

— Теперь до нашего житья рукой подать. Я побегу по берегу, встречу приготовлю. А вы, как только солнышко взойдет, что есть силы в рог трубите. Гребите к нашему двору и в рог трубите неумолчно.

Лисица добежала до Пойгина двора и залезла в дом. Шведка Кулимана еще спит-храпит. По стенам висит и по углам лежит Пойгино добро: шкуры лисьи, куньи, беличьи, оленье.

В эту пору из-за лесу выглянуло солнце. И по речке будто гром сгремел — затрубили в рог. Кулимана с постели ссыпалась, ничего понять не может.

А Лисица верещит:

— Дождалась беды, кикимора? Это Русь трубит!

Кулимана по избе бегают, из угла в угол суется, лисниц, кунниц под печку прячет:

— Ох, беда! Я-то куда? Я-то куда?

Лиса говорит:

— Твои слуги-кнехты где?

Кулимана воит:

— Кнехты мне не оборона! У стада были, у оленей, а теперь, как русский звук учуяли, побежали в запад. Так летят, что пуля не догонит.

Лиса говорит:

— Тебе, чертовка, надо спрятаться. Я при дороге бочку видела. Лезь в эту бочку.

Кулимана толста была, еле запихалась в бочку.

Лисица сверху крышку вбила:

— Хранись тут, Кулимана, в бочку поймана. Не пыши и не дыши. Я потом велю тебя в сторонку откатить.

А Пойга с гостями уж по берегу идет и невесту свою за руку ведет.

Лиса к нему бежит:

— Гостей ведешь почетных, а на дороге бочка брошена. Ну-ка, гостышки-голубушки, спихнем эту бочку в воду, чтоб не рассохлась.

Пять уверенных старух мигом подкатали бочку к берегу и бухнули с обрыва.

Кулимана ко дну пошла. Больше никого пугать не будет.

Устьянка с Пойгой по дому ходит, дом хвалит:

— Дом у тебя как город! И стоит на месте на прекрасном. Моя дочка будет здесь хозяйюшка и тебе помощница.

Вот сколько добра доспела Пойге Лисья мать за то, что он ее детей помнил.





Умная Дуня



Били Саня и Дуня, брат и сестра. Саня в городе работал, Дуня дома хозяйничала, в деревне.

Вот она от брата записку получила: „Завтра приеду домой на побывку“.

Дунюшка обрадовалась: „Чем буду братца угощать?.. Ах, братец котлеты любит!“

Котлету большую замесила, с тарелку, поставила жарить. „Ох, забыла: братец уксус любит!“

В подпол спустилась, стала из бочки уксус цедить.
„Ох, котлета сгорит!“

В избу полетела, котлету на окно поставила студить.
„Ох, забыла кран завернуть, уксус убежит!“

А уж уксус убежал: во весь пол лужа. „Ах, меня братец забранит: сырость развела!“

В углу мешок муки стоял. Дунюшка мешок в охапку взяла, давай эту лужу мукой посыпать. По полу ходит, грязь месит. „Вот теперь сухо, хорошо... Ох, кошка котлету съест!“

Бежит в избу, а уж кот давно котлету съел. Нет ни муки, ни уксусу, ни котлеты.

А брат приехал веселый, не стал браниться:

— Дуня, я поеду на завод насчет железа, крышу крыть. А деньги вот, в сундук кладу.

Дуня говорит:

— Деньги бывают золотые и серебряные, а тут бумажки пестрые.

— Ладно, не толкуй.

Брат ушел, Дуня села у окна покрасоваться. Мимо горшечник едет:

— Эй, красавица, горшков не надо ли?

— Надо, только денег настоящих нет, а всё бумажки пестрые.

— Покажи.

Она деньги из сундука вынула, показывает. Деньги как деньги: рублевки, трешницы, пятишницы. Горшечник видит — девка глупая.

— Ладно, деньги мои, посуда твоя.

Дунюшка посуду в избу носит, всю избу заставила. На окнах кринки, на лавках кринки, на столах, на полках...

Брат приходит, глаза вытарашил:

— Дуня, это что?

— Посуда.

— Где взяла?

— Купила.

— Где деньги взяла?

— Я не деньги, я твои бумажки пестрые отдала.

— Авдотья, ты меня разорила! Опять надо в город на заработки идти. И ты со мной пойдешь. Собирайся.

Саня и видит: Дуня дверь с петель снимает, тяжелую, дубовую.

— Куда ты с дверью-то?

— А может, в чистом поле будем ночевать. Я без двери боюсь.

Брат идет, и Дунюшка за ним пыхтит, дверь прёт. Вечер. Темень. На перекрестке сосна матёрая.

Саня говорит:

— Залезем на эту сосну, ночь пересидим на сучьях. Безопасно будет.

Брат на сосну лезет, и Дунюшка за ним с дверью мостится. Расположила дверь на сучьях и легла.

А давишний горшечник домой едет мимо этой сосны. „Эх, я неладно сделал, глупую девку обманул. Надо ее деньги сосчитать“.

С телеги слез, под сосну сел, стал считать Дунины деньги: рубль... три рубля... девять... двенадцать...

Дунюшка сквозь сон слышит этот счет. На край двери привалилась, чтобы поглядеть. Дверь перекувырнулась, Дунюшка и полетела, загремела с дверью вниз.

Горшечник рывкнул со страху, пал в телегу, лошадь настегал да домой без оглядки.

Брат с сосны слез, видит — деньги лежат.

— Дуня! Мои деньги!

Сосчитал — все до копейки целы.

— Ну, Дуня, пойдем домой хозяйствовать. Нет нужды в город идти.





Судное дело Ерша с Лещом



ачинается-починается сказка долгая, повесть добрая.

Ходило Ершишко, ходило хвастунишко с малыми ребятишками на худых санишках о трех копылишках по быстрым рекам, по глубоким водам. Прожился Ерш, проскудался. Ни постлать у Ерша, ни окутаться, и в рот положить нечего.

Приволокся Ерш во славное озеро Онего. Владеет озером рыба Лещ. Тут лещи — старожилы, тут Лещова.

вотчина и дедина со всем родом-племенем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ерш кланяться горазд: он челом бьет, затылком в пол колотит:

— Ой еси, сударь рыба Лещ! Пусти меня, странного человека*, на подворье ночь переночевать. За то тебя бог не оставит, родителям твоим царство небесное...

Пустил Лещ Ерша ночь обночевать.

А Ерш ночь ночевал, и две ночевал... Год жил, и два жил!.. И наплодилось в озере Онеге ершей втрое, впятеро против лещей. А рыба ерш ростом мала, да щетина у ей как рогатины. Почали ерши по озеру похаживати, почали лещей под ребра подкалывати. Три года лещи белого свету не видали, три года лещи чистой воды не пивали.

С этой напасти заводилась в озере Онеге бой-драка великая. Бились-дрались лещи с ершами от Петрова до Покрова*. И по той лещовой правде взяли лещи Ерша в полон, рот завязали, к судье привели.

Судья — рыба Сом с большим усом — сидит нога на ногу.

Говорит Лещ:

— Вот, господин судья... Жили мы, лещи, в озере Онежском, ниоткуда не избужены. Озеро Онего век было лещова вотчина и дедина. Есть у меня на это письма, и грамоты, и судные записи. Откуль взялся в озере Онеге Ершишко Щетинников, не ждан, не зван? Лисий хвост подвесил, выпросился у меня в Онеге ночь пере-лежать. И я за его спротство, ради малых ребят на одну ночь пустил. А он, вор, ночь ночевал, и две ночевал.

Год жил, и два жил... И теперь ершей в озере впятеро больше против нас, лещей. Да та худа рыба ерши ростом мала, а щетина у их, что лютые рогатины. И они по озеру нахвально похаживают, лещей под ребра подкалывают. Наши деушки-лещихи постатно себя ведут, постатно по улочке идут, а ерши наших девок худыми словами лают. С этой беды заводилась у нас с ершами драка немилостива, и по моей лещовой таланести взяли мы Ершишко Щетинникова в полон и к тебе привели: сидите вы, судьи, на кривде, судите по правде!

Говорит судья — рыба Сом:

— Какн у тя, у Леща, есть свидетели, что озеро ваше лещово?

Лещ говорит:

— Нас, лещей, каждый знает. Спроси рыбу Семгу да рыбу Сига. Живут в озере Ладожском.

Спрашивает судья Ерша:

— Ты, ответчик Ерш, шлёсся ли на таковых лещовых свидетелей, Семгу да Сига?

Ерш отвечает:

— Слатся нам, бедным людям, на таковых само- сильных людей, Семгу и Сига, не мочно. Рыба Семга да рыба Сиг люди богатые. Вместе с лещами пьют и едят. И хотят они нас, малых людей, изгубить.

Судья говорит:

— Слышишь, истец Лещ. Ерш отвод делает... Еще какне у тебя есть свидетели-посредственники?

Лещ говорит:

— Еще знают мою правду честна вдова Щука да

батюшко Налим. Живут в Певе-реке, под городом Питером.

Спрашивает судья Сом:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим тебе, Ершу, годны ли в свидетели?

Ерш в уме водит: „Рыба Налим — у его глаза малы, губища толсты, брюхо большо — ходить тяжело, грамотой не доволен. Он не пойдет на суд. А щука — она пестра, грамотой востра, вся в меня, в Ерша. Она меня не выдаст“.

И Ерш говорит:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим — то общая правда, на тех шлюся.

Посылает судья — рыба Сом — Ельца-стрельца, пристава Карася, понятого Судак по честну вдову Щуку, по батюшку Налима.

Побежали Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак из Онега-озера на Ладого, с Ладогн на матушку Певу-реку. Стали щупать, нашли Щуку. Учали батюшку Налима некать. День некали и два некали, не пили не ели и спать не валялись. На третьи сутки — день к вечеру, солнце к западу — увидали под островом Васильевским колодину. Колодину отворотили — под колодиной батюшко Налим сидит.

Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак челом ударили:

— Здравствуешь, сударь-батюшко Налим! Зовет тебя судья — рыба Сом с большим усом — во славное озеро Онего во свидетели.

— О-о, робята! Я человек старой, у меня брюхо большо, мне идтиль тяжело, язык толстой, непромятой, глаза малы — далеко не вижу, перед судьями не стаивал, у меня речь не умильна... Пате вам по гривенке. Не иду на суд!

Привели на суд Щуку.

Суд завелся.

Вот судья — рыба Сом — сгремел на Ерша:

— Сказывай, ответчик Ерш, какн у тя на Онежское озеро есть письма и крепости, памяти и грамоты?

И Ерш ответ держит:

— У моего-то напеньки была в озере Онежском избинка, в избинке были сенишки, в сенишках была клетиншка, а в клетиншке сундучиншко под замчиншком. В этом сундучиншке под замчиншком были у меня, доброго человека, книги, и грамоты, и судные записи, что озеро Онего — наша ершова вотчинна. А когда, грех наших ради, наше славное Онего горело, тогда и тятенькина избиншка, и сенишки, и клетиншка, и сундучиншко под замчиншком, и книги, и грамоты, и судные записи — все сгорело, ничего вытащить не могли.

В те поры Ленца, и Щуку, и всех добрых людей, которые рыбы из озера Онега, горе взяло:

— Врешь ты, страхиля! Пища ты коробка, кнела ты шерсть! Наше славное озеро Онего на веку не гарывало, а у тебя, у бродяги, там избы не бывало!

А Ерша стыд не ймет. Он заржал не по-хорошему да опять свое звонит:

— Был у моего тятеньки дворец на семи верстах,

на семи столбах. На полатях бобры, под полатами ковры — и то все пригорело... А нас, ершей, знают в Питере, и в Москве, и в Соломбальской слободе, и покупают нас, ершей, дорогою ценою. И варят нас с перцем и с шафраном, и великие господа, с похмелья кушавши, поздравляют...

И честна вдова Щука не стерпела:

— Нищая ты копейка! На овчине сидишь, про соболи сказываешь! Тридцать ты лет под порогом стоял, куски просил. А кто тебя, Ерша, знает да ведает, тот без хлеба обедает. Останется у голи кабацкой от пропою копейка, дак на эту копейку вас, ершей, сотню купят. А и уху сварят — не столько наедят, сколько расплюют.

И Ерш к Щуке подскочил и ей плюху дал:

— Вот тебе раз! Другой бабушка даст!

И Щука запастила во весь двор:

— Караул, убивают! А озеро Онего век было лещово, а не ершово! Лещово, а не ершово!

Судья возгласил:

— Быть по сему! Получай, Ерш, приказ от суда: уваливай из озера Онега.

Ерш на ответ:

— На ваши суды плюю и сморкаю!

И Ерш хвостом вернул, головой тряхнул, плюнул в глаза всей честной братни, только его и видели.

Пошел Ершишко, пошел хвастунишко на худых санишках о трех копылишках с малыми ребятишками по быстрым рекам, по глубоким водам. По пути у Леща



в дому все оконцы выхвостал... Из Онега-озера Ерш на Бело-озеро, с Бела-озера в Волгу-реку.

Река Волга широка и долга.

Стоит в Волге-реке Осетёр. Тут Осетрова вотчина и дедина.

Закланялось Ершишко рыбе Осетру, челом бьет, затылком в пол колотит:

— Ой еси, рыба Осетёр! Пусти меня в Волге-реке одну ночь перележать. За то тебя бог не оставит. Родителям вашим царство небесное...

А рыба Осетёр хитра и мудра. Она знает Ерша.

— Не пущу!

Ерш на него с кулаками. Ерша схватили, с крыльца спустили.

Ерш придумывает: „Рыба Осетёр хитра-мудра, а если будет вода мутна, Осетёр в гости пойдёт и невода не минует“.

Начал Ерш Волгу-матушку со дна воротить, с берегов рыть. Волга-река замутилась, со желтым песком смешалась.

Стали люди поговаривать:

— О, сколько рыбы поднялось! Воду замутили...

Люди невод сшили, стали рыбу промыслять. А рыба Осетёр хитра-мудра: видит, вода мутна — и она дома сидит, в гости не ходит.

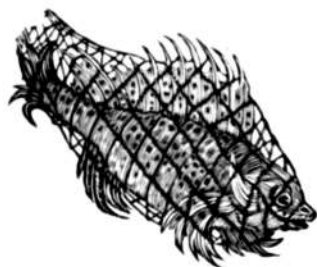
Это Ершу хуже ножа. Он мимо осетровых хором свищет, рад оконцы выстегать.

— Эй ты, Осетрина, старая корзина! Отпирай окна и двери, будем драться четыре недели. И я тебе голову

оторву. Схожу сейчас пообедать и приду тебя. Осетра, убивать!

Пошел Ершишко обедать, да и попал в невод. Из невода в медный котел. Уху из Ерша сварили, хлебать стали. Не столько съели, сколько расплевали. А хоть рыба костлива, да уха хороша...

Сказка вся, больше врать нельзя.





Наш пострел везде поспел



ом был, стоял добрым порядком и на гладком месте, как на бороне. В дому отец жил с сыновьями.

Старших и врать не знай, как звали, а младшего все Шишом ругали.

Время ведь как птица: летит — его не остановишь. Вот Шиш и вырос.

Братья — мужики степенные, а он весь — как саврас без узды. Такой был Шиш: на лбу хохол рыжий, глаза как у кошки. Один глаз голубой, другой как смородина. Нос кверху.

Пачнет говорить, как по дороге поедет: слово скажет — другое готово.

А ловок был — в рот заедет, да и поворотится.

Рано Шини начал шуточки зашучивать. У них около деревни, в лесу, барин с барыней землю купили. Домок построили, садик развели. До людей жадные и скупые были, а между собой жили в любви и согласье, всем на удивление. Оба маленькие, толстые, как пузыри. По вечерам денешки считали, а днем гуляли, сады свои караулили, чтобы прохожие веточки не сорвали или травки не истоптали. У деревенских ребят уши не зажимали все лето — старички походя дрались, а уж друг с другом одни нежности да любезности.

Шини на них давно немилым оком смотрел:

— Ужо я вам улыю щей на ложку!

И случай привелся. Забралась в лес старушонка из дальней деревни за грибами. Ползала, ширилась, да и заблудилась. И заревела:

— О-о! Волки съедят!

Шини около шнырял:

— Бабушка, кто тебя?

— У-у, заблудилась!

— Откуда ты?

— Из Горелова.

— Знаю. Выведу тебя, только ты мне сослужи службу...

Шини и привел ее к барской усадевке:

— Видишь, в окне баринок сидит, спит за газетой?

— Ну, не слепая, вижу.

— Ты постучи в окно. Барин нос выставит, ты тынишь по плечи да скажи: „Па! Барыне оставь!“

— Как же это я благородного господина задену?
Они меня собаками затравят!

— Что ты! Они собак не держат, сами лают.

— Пу, что делать, не почевать в лесу...

Побежала старуха к дому, стукнула в раму:

— Барин, отворьте окошко!

Толстяк высунулся, кряхтит:

— Кто там?

Старушонка плюнула в ладонь, размахнулась да как дернет его по плечу:

— На! Барыне оставь!

А сама от окна -- и ходу задала.

Ну, ее Шини на Русь вывел.

Этот баринок окошко захлопнул, скребет затылок.
а барыня уж с перины есыналась:

— Тебе что дали?

— Как -- что дали?..

— Я слышала, сказали: „На, барыне оставь“.

— Ничего мне не дали!

-- Как это ничего? Давай, что получил.

-- Плюху я получил.

Плюшечку? Какую? Мяконькую?

- Вот какую!

И началась тут драка. Только перья летят.

Вот что Шини натворил.



АХОД НЕ ЖИВЕТ БЕЗ ХЛОПОТ



от отец пристарел. Братья волю взяли, дом на себя и скот на себя отобрали. Отцу говорят:

— При твоём худом здоровье первое дело свежий воздух. Ты теперь почуй в сарае, а день гуляй по миру. Под одним окошечком вырастешь, под другим съешь.

А Шишу дали коровку ростом с кошку, удоя с ложку:

— Вот это тебе, братец, надёлок. И вообще — люби нас, ходи мимо.

Отец сидит на крыльце, не смеет в избу зайти. У Шиша в сердце как нож повернулся. Он отца в охапку:

— Тятенька, давай заодно жить! Есть — пополам, и нет — пополам. А братцам дорогим я отемею насмешку, принасу потешку!... Тятенька, ты меня дожидайся, а я пойду эту коровенку продавать.

Шиш лесом идет, а дело к вечеру. И гроза собралась, близко громыхнуло. На ночь мокнуть неохота, Шиш и сунулся в боковую тропиночку, в дебрь, где бы лесину, ель погуще найти. Он в лесу не боится. Шагов сотню ступил — в ельнике дом стоит. Еле доколотился.

Старуха открыла:

— О, куда ты, парень, попал! Уваливай, пока жив.

— Бабинька, пусти, где коровке хоть перестоять грозу.

— Дитятко, уходи: разбоем хозяева-то живут.

А к воротам еще двое бегут. Шини сразу узнал — два богатея из соседнего села. Кричат:

— Эй, бабка, где тут дождь переждать?

Что будешь делать! Старуха и спрятала всех в подполье:

— Только уж чтобы ни кашлянуть, нидохнуть, ни слова не сказать, как хозяева придут. Убьют и меня с вами.

Под полом Шини их спрашивает, будто не знает:

— Вы чьи? Куда?

Те не смотрят на него:

— Со всяким сбродом не разговариваем!

Тут над головами затопали, заходили... Разбойники приехали.

Там у них питье пошло, еда. Напились пьяны, песню запели: „Не шуми, мати-дубравушка...“

Тут Шиниша как шилом подняло:

— Ах, люблю! Даже до слез! Запою и я с ними..

Купцы его в охапку:

— С ума тебя скинуло, собаку?

— Заткни глотку! Убьют!

— Ох, не осудите меня! Я певец природный. Запою!..

— Молодой человек, не сгубите! Возьмите деньгами!

По десятке дадим!

— А уж по сотне не дадите?

— Подавись сиротским! На!

Шини деньги убрал в карман, сел в уголок, будто спит.

Не успели купцы кисеты завязать, наверху плясовую грянули — „барыню“.

Ух, барыня, не могу!
Комар ступил на ногу...

Шинш к купцам:

— Рабы божьи, теперь не вытерплю! Я на то родился, чтобы плясать. Ух!..

Ходи, хата, ходи, хата!
Ходи, курица хохлата!..

Купцы у него на ногах повисли:

— Возьми что хошь, пожалей не нас — сироток наших! Благодетель, не погуби!

— Так уж, чтобы вам не обидно, еще по сотне с человека.

Вот у Шинша четыреста рублей, да всё золотыми.

А наверху-то и учуяли, что под полом неладно. Дрогнули разбойники:

— О, согрешили, грешники! Бесы в доме завелись! Не будет боле удачи...

Старуха слышит — на ней каждый трепок трясется:

— Я, хозяйева, бесов-то выживать туда человека запустила...

— Какой человек?

Шинш это услышал, он всех смелее, и лезет из подполья.

Разбойники к нему:

— Ну что? Благополучно ли? Всех ли бесов-то выжил?

Шинш и смекнул:

— Пятерых выжил, двое остались больших. Те там подпольем ушли, этих надо избой выпускать...

— Молодец, выведи эту напасть! Отблагодарим тебя.

— Не стоит благодарности. Давайте кудели да огонька. Сами зайдите за печь, чтобы, как полетят, вас не задело.

Сам Шини спустился под пол.

— Ну, кунцы, я с вас взял по два ста, а разбойники вас найдут и душу вынут. А за ваши деньги я вас отблагодарю.

Вот Шини обоих кунцов куделей замотал по одежде:

— Как я вас подожгу, вы и летите избой да на улицу.

Чиркнул спичкой, всыхнула куделя. Взвились кунцы по лесенке, да в избу, да в сени, да на улицу. А там после грозы лужа. Они в эту лужу. Даже одежда не затлела. Да скорее в лес, да домой.

А разбойники не скоро в себя пришли:

— О, молодой человек! И не видали мы на веку такого страху...

— О, коль страшно у бесов огненно-то видение! О, погубили мы свои душеньки, уготовали себе вечный огонь!..

— Руку даю, что эти черти боле к вам не прилетят, не досадят.

— Тебя как благодарить-то?

— Да вот стронься собрался...

— Держи сотенную. За такую услугу сто рублей плёвое дело.

А коровку Шиш старухе ихней подарил.

Шиш домой пришел. Деньги на стол, считать начал. Сбился, опять снова. Братья около, рот раскрыли, стоят...

— Шиш, откуда таково богатство?

— А прихожу на рынок, а у меня коровенку из рук рвут. Пять сот за шкуренку дали.

Братья в хлев. От жадности трясутся. Коров колют и шкуры с них дерут. Запрягли пару коней да в город с кожами. Стояли-стояли в кожевенном ряду... Кто-то подошел:

— Почем шкура?

— Сто...нет, триста... пятьсот рублей!

Покупатель глаза выпучил да бегом от них.

Народ собрался, пальцами кажут:

— Глядите-ко, безумные приехали. За коровью шкуру сотни просят...

Вернулись братья домой да на Шиша с кулаками:

— Обманыва-а-ать?!

— Да что с вами? Что?

— Да ведь нас весь рынок дураками почтил!

— Да вы в каком ряду стояли?

— Как в каком? В кожевенном!

— А я в галантерейном.

Братья на другой день в галантерейном стояли. Публика ходит чистая. Барыни братьев ругают, городовые их гонят.

Один кто-то спросил опять:

— Да почем шкура-то?

— А вот третьего дня за маленькую шкуренку пятьсот давали, дак уж у нас неужели дешевле!

Тут уж их в шею натолкали. До самой заставы с присвистом гнали. Кричат мальчишки:

— Самашеччих везут! Самашеччих везут!

Прикатили братья домой, кони в мыле.

— Подать сюда злодея, всегубителя, разорителя!..

Не успел Шинш увернуться. Бочка во дворе стояла. Шинша в нее заколотили, да с берега в реку и ухнули. Пронесло бочку с версту, да к берегу и прикачало.

Шинш и слышит, что по берегу кто-то с колокольчиком едет. Шинш и заревел:

— О-о-о! Ни читать, ни писать, ни слова сказать, а в начальники ставят!

А с колокольцем-то ехал становой с бедной деревни подати выколачивать. Он с тройки да под угор:

— Я знаю читать, и писать, и слово сказать! Я в начальники годеи. Кто здесь?

— Я! В бочке сижу.

Становой дно выбил. Шинш вылез.

— В начальники силои ставят, а я бы другому уступил.

— Возьми отступного. Я в начальники горазд.

— А давай меняться. Вы в бочку залезете — в начальники вас направят на мою должность, а я ваших лошадок с кибиточкой — себе.

— Согласен. Хлебна ли должность та?

— Обзолотиться можно.

Заколачивай скорее. Жив-во!

Забил динице Шиш да как пнет бочку ту! Ух, она в воду полетела, поплыла...

А Шиш домой на тройке подкатил.

Братья под кровати лезут:

— У-у, утопленничек, не ешь нас!

— Что вы, дикне! Глядите-ко, мне там каких лоша-док выдали!

— Где выдали-то?

— Куда меня спихнули, там.

Братья коней гладят. От зависти руки трясутся.

— Шишанушка! У нас вон бочка порожняя...

— Ну, порожняя, вижу.

— Мы бы в бочку ту... да в речку ту... Не откажись. Тоже хоть по конику бы!

— Дак что ж, можно. Неужели для братьев едино-утробных пожалею?

О, сколь тяжело было бочку ту катить! А те там сидят — торопят:

— Катн круче! Всех хороших-то упустим.

Опять с горы как дунет их Шиш...

Поехали братаны вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью. Выплеснуло их в Пижнем, у ярмарки. Лавку там себе поставили. В домашнюю сторону и смотреть перестали.

А Шиш с отцом зажил. Он до отца хороший стал, ласковый. Отец его залюбил.



Шини и трактирщица



о свету гуляючи, забрел Шини в трактир пообедать, а трактирщица такая вредная была — видит, человек бедно одет, и отказала:

— Ничего нет, не готовлено. Один хлеб да вода.

Шини тому рад:

— Ну, хлеба подайте с водичкой.

Сидит Шини, корочку в воде помакивает да по-сасывает. А у хозяйки в печи на сковороде гусь был жареный. И сдумала толстуха пошеяться над голодным прохожим.

— Ты, — говорит, — молодой человек, везде, чай, бывал, много народу видал, не заглаживал ли ты в Печной уезд, в село Сквородкино, не знавал ли господина Гусева-Жареного?

Шини смекнул, в чем дело, и говорит:

— Вот доем корочку, тотчас вспомню.

В это время кто-то на хорошем коне приворотил к трактиру. Хозяйка выскочила на крыльцо, а Шини к печке. Открыл заслонку, сдернул гуся со сковороды, спрятал его в свою сумку, сунул на сковородку лапоть и ждет...

Хозяйка заходит в избу с проезжающим и снова трунит над Шиниом:

— Ну что, рыжий, знавал Гусева-Жареного?

Шинш отвечает:

— Знавал, хозяйюшка. Только он теперь не в Печном уезде, село Сковородкино, живет, а в Сумкино-Заплечное переехал.

Вскинул Шинш сумку за плечо и убежал с гусем.

Трактирищица говорит гостю:

— Вот дурак мужик! Я ему про гуся загадала, а он ничего-то не понял... Проходите, сударь, за стол. Для благородного господина у меня жаркое найдется.

Полезла в печь, а на сковороде-то лапоть!



Шинш показывает барину нужду



има была лютая. Выскочил Шинш однажды на улицу, выдернул жердь из огорода и стал рубить. А мимо проезжают барин с барыней на тройке:

— Эй, мужик! Зачем забор на дрова рубишь?

— Не я рублю — нужда рубит!

— Что значит нужда?

— Неужто нужды не видали?

А она что, где?

— Где? В чистом поле, под горкой.

— Мы желаем посмотреть. Проводи нас туда вместо прогулки.

Люди бы за ум, а Шниш за дело.

Уселся в господские сани и поехал в чисто поле.

Ехал, ехал, дале надоело.

Остановил коней:

— Дальше конями не проседешь. Ежели угодно, полем пройдитесь пешком. Нужда — она вон где: вправо, четверта горочка слева, куда галка полетела...

Господа из саней вылезают:

— Эй, мужик! Мы прогуляемся туда, а ты покарауль тройку.

— Пожалста.

Вот и полезли барин с барыней по снегу. К горке подойдут, другú завидят, эту осмотрят, вдали четверта блазнит. А нужды этой кабыть не сидит нигде...

Ну, они бродят, а Шниш свое дело правит. Тройку выпряг, на коренинка сел да с конями в свою деревню ускакал. Сани в поле на дороге покинул.

А барин с барыней бродят по колени в снегу да по пояс ныряют. Умаялись, уны́хались. К вечеру еле-еле по старым своим следам на дорогу к саням выгреблись. Сани-то на месте, а лошадей нет.

И поругались, и поплакали... Вот где нужда-та!

Барин говорит:

— Придется вот что: ты за одну оглоблю возьмись, я за другую. Так и повезем сани!

Барыня не слушает:

— Ни за какую оглоблю я братья не намерена! Хочешь, так впрягайся, а я, в крайнем случае, сбоку, впристяжку.

Делать нечего, впрягся барин в корень, а барыня впристяжку. Поволокли сани. Подвезут да отдохнут, подъедут да посидят.

Заблудились в великих снегах.

Очень хорошо они теперь нужду узнали!



Р и ф м ы



ниш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. Впереди едет дядька на лошади. Ниш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит этому дядьке:

— Здравствуйте, Какой-то Какой-тович!

Дядька не расслышал, как его называли, только понял, что по имени и отчеству. Он и кричит Нишу:

— Здравствуйте, молодой человек.

А Шиш опять:

— Как супруга ваша поживает, как деточки?

Дядька говорит:

— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на телегу, подвезу вас.

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только тогда молчит, когда спит.

Он говорит:

— Дяденька, давайте играть в рифмы.

— Это что такое — рифмы?

— А давайте так говорить, чтоб складно было.

— Давай.

— Вот, дяденька, как твоего папашу звали?

— Моего папашу звали Кузьма.

Шиш говорит:

— Я твоего Кузьму
За бороду возьму!

Дядька говорит:

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь?

Шиш говорит:

— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали.

— Моего дедушку звали Иван.

Шиш говорит:

— Твой дедушка Иван
Посадил кошку в карман.

Кошка плачет и рыдает,
Твоео дедушку ругает.

Дядька разгорячился:

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки прибираешь?

— Это, дяденька, для рифмы.

— Я вот тебе скажу рифму: тебя как зовут?

— Меня зовут... Федя.

Дядька говорит:

— Если ты Федя,
То поймай в лесу медведя.
На медведе поезжай,
А с моей лошади слезай!

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан.

Дядька говорит:

— Если ты Степан,
Садись на аэроплан.
На аэроплане и летай,
А с моей лошади слезай!

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а... Силантий.

Дядька говорит:

— Если ты Силантий,
То с моей лошади слезантий!

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — „слезантий“.

— Хотя и нет, все равно слезай!

Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый человек везет на лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков.



Чистота



дет Шиш перелеском. Время позднее, надо где-то переночевать. Меж деревьев огонек блеснул, избушка стоит. Шиш в ворота стучится:

— Укройте странника от темной ночи!

Хозяин впустил Шиша в избу и говорит:

— Я тебе сделаю экзамен. Если будешь правильно отвечать, тогда спи-лежи. Если соврешь, буду тебя бить по шее.

Вот они залезли на полати. Хозяин бороду с полатей свесил и показывает пальцем на котенка:

— Это как называется — на полу сидит, лапой моется? Шиш говорит:

— Кошка.

Хозяин раз его по шее:

— Не кошка! Это чистота. А как называется, что у меня в печи горит?

Шинш говорит:

— Огонь.

Хозяин стук его по шее:

— Не огонь! Это светлота. А мы на чем лежим, как называется?

Шинш говорит:

— Полати.

Хозяин опять его по шее:

— Не полати! Это высота. А что у меня в ведрах налито?

Шинш говорит:

— Вода.

Хозяин стук его по шее:

— Не вода! Это благодать...

Мы ведь там не были — не знаем, сколько оплеух Шинш в эту ночь насобирали. Он плакать не плачет, а слеза бежит.

Утро настало, хозяин на улицу вышел. Шинш с полатей соскочил, кошке на хвост кудельку привязал, кудельку снучкой подеветил, куделька загорелась. Кошка на полати заскочила, на полатях всякое тряпье стало тлеть. Дым пошел под потолок. Шинш на крыльцо выскочил и кричит:

— Хозяин, твоя чистота схватила светлоту, занесла на высоту! Неси благодать, а то ничего не видать!



Шиш-сказочник



от вы сказки любите, а Шишу однажды из-за сказок беда пришла. Дело было осенью, время к ночи, и дождь идет. По дороге деревня. Надо где-то переночевать. Шиш в один дом постучался — не открывают. В другой дом поколотился — не пускают. Шиш в третью избу стучится:

— Пустите ночь переночевать!

Хозяин говорит:

— А ты сказки сказывать мастер?

Шиш говорит:

— Слыхал маленько.

Хозяин говорит:

— Маленько нам ни к чему. А если разговору на всю ночь хватит, тогда заходи. А нет — до свиданья.

Шишу деваться некуда. Зашел в избу. Хозяин постелился на лавке; хозяйка залезла на печку; работник ихний на полу. А Шишу, извольте радоваться, поставили среди избы стул — сиди рассказывай всю ночь...

Мы бы с вами загоревали, а Шиш деловой человек. Он говорит:

— Ладно, буду сказывать всю ночь, только под таким условием: кто меня хотя одним словом перебьет, тому и сказку дальше говорить. Согласны?

Все ответили:

— Согласны, согласны!

Шини начал:

— Как у вас на селе мужики поголовно все дураки.

Как у вас на селе мужики поголовно все дураки.

Как у вас на селе мужики поголовно все дураки...

Говорил, говорил — раз двести это слово повторил.

Хозяин терпел-терпел, далее разгорячился:

— Невежа ты, невежа! Я тебя ночевать пустил, а ты нас дураками называешь!

Шини говорит:

— Хозяин, ты меня перебил, тебе и сказку дальше говорить.

Хозяин начал сказку:

— Чур, не перебивать... Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу.

Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу.

Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу...

Говорил, говорил — раз двести эту речь повторил.

Хозяйка на печи разбудилась, заругалась:

— Беда с вашими сказками! Почью спokoю нету...

Хозяин за жену сграбился:

— Ты меня перебила, тебе и сказку говорить.

Не могла старуха отдуться, сказку заговорила:

— Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил.

Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил.

Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил...

Говорила, говорила — раз сотню это слово повторила.

Работник на полу разбудился, забранился:

— День на вас работай, и ночью от вас спокою нету!..

Хозяйка на него мухой пала:

— Ты меня перебил, тебе и сказку говорить.

Работник сказку заговорил:

— Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти.

Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти.

Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти...

До рассвета работник это слово говорил.

Шини заметил, что в оконцах утро синест, светло стало, схватил шапку да бегом из этого дома. Часа два без оглядки бежал. Долго потом сказок не рассказывал.





**СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ,
ОБЪЯСНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ**

Аксинья-полузимница — двадцать четвертого января старого стиля.

Бахилы — сапоги, шитые на прямую колодку.

Баюнóк — сказочник; от слова „баять“, сказывать.

Блázнить — мерещиться.

Большая вода — прилив; малая вода — отлив.

Бот — род лодки; ходит на веслах и под парусом. В наши дни приняты моторные боты.

Бриг, бригантина — типы или виды морских парусных судов; строились на Севере в XVIII и XIX веках.

Вáтерлиния — линия, или полоса, наведенная краской по корпусу судна, от носа к корме. Глубже этой линии судно при погрузке товара не должно садиться в воду.

Взвóдень — крутая, большая волна.

Вéрес — можжевельник.

Верфь — место, где строят корабли.

„Виноград (то есть сад) Российский“. — Книга эта рассказывает о преследованиях со стороны церкви и царя, которым в конце XVII и начале XVIII столетий подвергались староверы. Автор — Андрей Денисов (1675—1730); он основал на реке Выг

своего рода культурный центр Поморья. Отсюда название: Выгореция.

В ы т ь — здесь: время еды и сама еда.

Г а р ч и т — хрипло лает (о собаке).

Г л я д е н ь — возвышенная часть берега, гора на берегу, откуда открывается широкий вид на море.

Г о в о р я — речь.

Г о л о в и щ и н а — уголовицина, драка.

Г о л о м е н ь, г о л о м я — открытое море.

Г о р л о, Г о р л о в и н а — выход Белого моря в Северный океан.

Г р и д н я — здесь: комната для приема гостей.

Г у б а — здесь: морской залив.

Г у д о к — древнерусский музыкальный инструмент, похожий на виолончель.

Д о с е л ь н ы й — старинный.

Е г о р ь е в д е н ь — двадцать третьего апреля старого стиля.

Е з ы — колья, вбитые в дно реки и переплетенные пивняком; служат перегородкой для ловли семги.

Ё л а — легкое на ходу беспалубное однопалубное судно с высоким носом и кормой. Употребляется ёла для промысла рыбы у мурманских берегов. Образец этого судна взят в Норвегии.

З а б о л о н ь — внутренний слой древесной коры.

З а д в е н н ы й — далеко задвинутый, удалённый.

З а д е т ь — сделать.

З а р у д и т ь — окровавить, окрасить кровью.

З д в и ж е н ь е — воздвижение, церковный праздник 14 сентября старого стиля.

З н а т л и в ы й — знахарь, ведун.

З у ё к — северная птичка вроде чайки. Зуйками поморы называли мальчиков, работавших на промысловых судах. Зуйки варили еду, сушили сети, помогали взрослым в их работе.

Ка́рбас — парусно-гребное судно древнерусского образца. Карбас легок, поворотлив на ходу и распространен на Севере до наших дней. Морские карбасы были с палубой.

Кёмские поморы — жители западного берега Белого моря, где стоит город Кемь.

Кли́вер — косой, треугольный парус на бушприте (бугшприте) — передней мачте.

Клобу́к — головной убор у монахов.

Копы́лья, **копы́лы** — основа саней, стояки, вдолбленные в полозья саней. „Поставить разговор на копылья“ — заговорить об основном.

Коре́ла — Карелия, область на западном берегу Белого моря.

Ко́рмщик — капитан судна.

Ко́ча, **кочма́ра** — древнее парусное палубное судно. Устройство кочи сходно с лодьей, но размеры меньше. Коча известна была на Севере еще во времена Новгородского владычества.

Ко́шка — здесь: песчаная отмель.

Крамо́литсяя — бунтовать.

Кре́нья — полозья у лодки.

Куде́сы — волшебство, чародейство.

Кули́мана, **шведка Кулимана**. — В преданиях карелов сохранилась память о „свейских нагонах“ (шведских набегах), которые бывали на Севере в XVI веке. Отсюда сказочная „шведка Кулимана“.

Ку́тер — вид морского парусного судна: строились на Севере в XVIII и XIX веках.

Ку́фман (норвежск.) — кунец.

Ла́хта — небольшой залив.

Лека́ла — части деревянного чертежа, сколоченного на месте постройки судна. Расположение лекал определяет очертания будущего судна.

Лихора́дство — лиходейство, злой умысел, злой поступок.

Лихте́р — буксирное разгрузочное судно. Товары с боли-

шого корабля выгружаются на лхтеры и так доставляются на берег.

Лóдь я — большое парусное трехмачтовое судно.

Лопь — древнее население Кольского полуострова.

Лóпин — человек лопского племени.

Манатьёй чернеческой — мантией монашеской.

Ма́ра — густой туман.

Ма́тица — балка, которая поддерживает доски потолка.

Наблюдник — полка, на которую ставят тарелки на ребро.

На́воло́к — часть берега, вдающаяся в море, озеро или реку.

Нать — надо.

Натодёльный — для того сделанный.

Немецкая слобода — район в городе Архангельске. Здесь с древних времен жили домами и дворами немцы, англичане и голландцы. До германской войны 1914 года Немецкая слобода слыла самой богатой частью города.

Несоблюдно — небрежно.

Николлин день — девятое мая старого стиля.

Ободвёрина — косяки у дверей.

Одинакий — единственный.

Оли — даже.

Орда́ — здесь: зверек из породы белок.

Орда Синяя — прозвище одного из татарских племен времен нашествия татар на Русь.

Остро́г — в старину так называли крепостную стену из вкопанных вплотную и заостренных кверху столбов.

От Петрова до Покрова — от Петрова дня — двадцать девятого июня до Покрова — первого октября.

Отпрядывать — отскакивать.

Ошкúй — белый медведь.

Па́ужна — еда между обедом и ужином.
 Перелáдец — набор колокольчиков, аккомпанирующих гудку.
 Перешерстѣть — перебрать, переменить.
 Побóчна — боковая обшивка у судна.
 Пóветерь — попутный ветер.
 Погудáльце — смычок для игры на гудке.
 Поддóн — настил в судне.
 Подродѣть — прибавить, укрупнить, прибавить силы, здоровья.
 Пожѣто́чный — имеющий много пожитков (имущества), зажиточный.
 Поклонѣ́ться большим обы́чаем — поклониться в пояс.
 Пóкрут — команда промыслового судна; пóкрут обряжать — набирать, вербовать команду.
 Поро́зно — порожно, пусто.
 Постатѣ́йно — статно, прямо, с достоинством; постатѣ́йно поет — поет так, как подобает.
 Постѣ́ль реки — русло реки.
 Прибе́гище — пристань, причал для кораблей.
 Припра́вить — приняться.
 При́честь — поэтические речи, распеваемые женщинами в торжественных случаях жизни.
 Прове́щилась — высказалась; от слова „вещать“.
 Проску́дѣлся — обеднел; от слова „скудость“.
 Прохвaтѣ́лся — спохватился.
 Прѹ́жить, опрѹ́жить — опрокидывать.
 Прѣ́дать — прыгать, скакать.
 При́дено — пряжа.
 Радѣ́ть — стараться.
 Ранго́ут — общее название всех деревянных или стальных брусев на судне: мачты, реи, стеньги, бушприта, на которых укреплены паруса.
 Ро́паки — нагромождение льда, сгрудившиеся глыбы льда.

Рочѣть (мореходн.) — закрепить, привязать.

Рѹмпель — рычаг для управления рулем.

Свѣн — шведы.

Свиль — винтообразное расположение волокон в дереве, делающее его непригодным для обработки.

Скоморох — бродячий актер в древней Руси.

Скорополѹчно — скоро и благополучно.

Слѣчные — схожие друг с другом.

Соловецкое знание — умение водить корабли в западной части Белого моря.

Сретенъев день — второе февраля старого стиля.

Становой — главный.

Статки — остатки, наследство.

Стать на стѣпени — стать на верхней ступени.

Стѣнные — здесь: члены правления.

Стол княждей — княжеский трон, престол; „со стола по-высадим“ — лишим княжеской власти.

Стра́дник — бранное слово.

Стра́нный человек — странник, путник.

Сукма́н — суконный кафтан.

Такелаж — веревочная оснастка судна; стоячий такелаж — снасти, которые удерживают в надлежащем положении мачты и прочие брусья, служащие для установки парусов; бегучий такелаж — снасти, посредством которых производится управление парусами.

Толкѹчне горы — беспорядочно расположенные горы.

Толстосѹмы — богачи.

Тройма — втроем.

Тулиться — прятаться, укрываться.

Ту́рья гора — гора на западном берегу Белого моря.

Угðр — возвышенный берег.

Устья́не — жители речного устья.

Ушкúйная голова — разбойная, отчаянная голова. Ушкуйниками в древней Руси назывались ватаги новгородцев, которые в больших лодках — ушкуях — ходили на далекие северные реки и занимались разбоем.

Фактòрия — пункт для скупки или обмена на другие товары добычи зверопромышленников.

Чернопáхотные реки — реки, по берегам которых преобладает земледельческое население, землепашцы.

Чётъи-Мнѣи — церковная книга.

Чúнка — легкие сани с кузовом.

Шкúна — вид морского парусного судна; строились на Севере в XVIII—XIX веках. На шкунах поморы плавали почти до наших дней.

Шнѣка — принятое на Мурмане рыбацкое однопарусное судно. Образец этот был взят у древних норманнов. На шнеках поморы промышляли треску еще в начале XX века.

Штѣвни — носовой и кормовой брусья, сдерживающие концы досок, образующих обшивку судна. Поморское название штевня — корч или упруг.

Юрово — стадо морских зверей.

Юровщик — вожак (от слова „юрво“, стадо морского зверя)



| | |
|---|----------|
| <i>Н. Емельянова. О книге Б. В. Шергина</i> | 3 |
|---|----------|

МОЯ ЮНОСТЬ

Гравюры А. Ф. Билль

| | |
|---|------------|
| Двинская земля | 11 |
| Детство в Архангельске | 20 |
| Рождение корабля | 31 |
| Мурманские зуйки | 48 |
| Миша Ласкин | 63 |
| Морское знание | 71 |
| Новая Земля | 76 |
| Матвеева радость | 85 |
| В отнoсе морском | 105 |

ДЕДОВЫ СКАЗАНИЯ

*Гравюры Ф. Д. Константинова, В. Н. Ростовцева,
Л. Л. Ростовцева*

| | |
|---|------------|
| Любовь сильнее смерти | 117 |
| Гнев | 124 |
| Братанна | 129 |
| О кормщике Устьяне Бородатом | 145 |
| Слово кормщика | — |
| Русское слово | 146 |
| Устьян и купец | 147 |
| Устьян и олени | 149 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| О кормщике Маркеле Ушакове | 150 |
| Мастер Молчан | — |
| Кошелек | 152 |
| Ворон | 154 |
| Корабельные вожжи | 156 |
| Ваня Датский | 160 |

ПОМОРСКИЕ СТАРИНЫ

Гравюры *В. А. Фаворского*

| | |
|--|-----|
| О Сухмане Непровиче | 171 |
| Емшан-трава | 180 |
| Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром | 186 |
| Об Авдотье Рязаночке | 192 |
| Об Иване Грозном и его сыне Федоре | 208 |

ПОМОРСКИЕ СКАЗКИ

Гравюры *М. С. Чураковой*

| | |
|--|-----|
| Дивный гудочек | 217 |
| Пойга и Лиса | 222 |
| Умная Дуня | 229 |
| Судное дело Ерша с Лещом | 233 |
| Сказки о Шише | 242 |
| Наш пострел везде поспел | — |
| Доход не живет без хлопот | 245 |
| Шиш и трактирщица | 252 |
| Шиш показывает барину нужду | 253 |
| Рифмы | 255 |
| Чистота | 258 |
| Шиш-сказочник | 260 |
| Словарь местных и специальных слов и выражений, объяснение собственных имен и названий | 263 |

ДЛЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Шерем Борис Викторович

ПОМОРСКИЕ ВЫЛЫ И ОКАЗАНИЯ

Переклет и форзац В. А. Фаворского
Титул А. Ф. Вилль

• • • • •

Ответственный редактор В. А. Гавина.
Художественный редактор В. В. Пахомов.
Технический редактор Н. А. Молоканова.
Корректоры Е. Е. Кайрунгитис
и Л. А. Кречетова.

• • •

Сдано в набор 5/IV 1957 г. Подписано к печати 21/IX
1957 г. Формат 70×92¹/₁₆ мм. 17 печ. л.—19,84 усл. печ. л.
(10,13 уч.-изд. л.). Тираж 30000 экз. Заказ № 57.
Цена 5 р. 50 к.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва,
Оущевский вал, 49.